

**ВЛАСТЬ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ РОССИИ**  
(Семинар 9 апреля 2009 г., ИНИОН РАН,  
с участием журнала «Политическое образование»)



**Ю.С. Пивоваров, ИНИОН РАН:** Спасибо, что дали мне первое слово, как директору. Это некоторым образом подтверждает то, о чем я собираюсь говорить, – *об особенностях русской политической культуры*. Свое выступление я рассматриваю не как научный доклад, а как своего рода «разогрев» перед остальными выступлениями. Я думаю, избранная тема очень удачна: когда в России говорят о власти, то имеют в виду очень многое – политику, экономику, транспорт и т.д. «Через» власть можно понять все; она – ключ к природе нашей социальности. Я буду говорить о русской власти как о некоем идеальном типе.

Что касается политической культуры, то на протяжении многих лет в ИНИОНе идет спор между Юрием Сергеевичем Пивоваровым и Борисом Сергеевичем Орловым о том, как ее трактовать. Ю.С. Пивоваров настаивает на узком понимании в стиле Г. Алмонда. Борис Сергеевич предлагает интерпретировать понятие гораздо шире. Так вот, Борис Сергеевич, сегодня я буду говорить в Вашем духе, иначе получится слишком «узкий» разговор. Хотя классический термин и будет выглядеть как «облако в штанах», политическая метафора.

С моей точки зрения, и термин «русская цивилизация» – тоже метафора. Не знаю, существует ли русская цивилизация, но русская культура точно есть. Если бы меня попросили определить ее основное качество, я бы сказал, что она властечетрична. Тогда как современная западная культура, по-моему, антропоцентрична. Это, кстати, зафиксировано в конституциях: западные представляют собой консенсус по поводу прав человека, русские – консенсус индивидов по вопросу осуществления власти.

Важнейшее качество русской власти – ее неполитический характер. Несколько лет назад я и мой коллега назвали ее метафизической (см. работу Ю.С. Пивоварова и А.И. Фурсова «Русская система»). И сегодня я сказал бы то же самое – русская власть имела (и имеет сейчас) характер метафизический. Кроме того, она насильственная: это не власть-договор, не власть-конвенция, а власть-насилие – по природе и методам осуществления. В какие-то периоды она может быть более мягкой: так, В.О. Ключевский писал, что Алексей Михайлович не очень напрягал свою самодержавную волю, а вот его сынок, Петр Алексеевич, напрягал чрезвычайно. Одним словом, степень насилия (проявления насильственной природы власти) во многом зависит от ее персонификатора. М.С. Горбачев, например, не очень старался в этом смысле, другие – даже слишком.

Русская власть не договорная, в отличие от европейской, – ей просто не с кем договариваться. Тот же мой коллега и я когда-то назвали русскую власть монособъектом русской истории. От этого определения я тоже не хотел бы отказываться. Конечно, это некоторый перефраз, но по существу верно. А с кем может договариваться монособъект? И в этом смысле формула Павла I (однажды он сказал французскому послу: в России что-то значит только тот, с кем я разговариваю и куда я с ним разговариваю) актуальна и по сей день.

Наконец, русская власть обязательно персонифицирована. Что это значит? Морис Дюверже и Жорж Бурдо, виднейшие французские политологи, неоднократно писали, что одним из важнейших элементов человеческого прогресса является отделение идеи власти от лица, ее представляющего. На Западе это произошло – там власть абстрактна. Конечно, это тоже идеалтипический конструкт, но все же власть отделена от лица. В России же она персонифицирована, и в этом – огромная проблема: персонификация – это всегда физическое лицо. А если власть метафизическая, то возникает конфликт между физическим лицом и метафизической природой власти. И то, что ряд русских царей – Иван Грозный, Пётр Великий – уничтожали своих наследников, служит подтверждением этого вывода.

Русская власть имеет дистанционный характер. Она не порождена обществом, а как бы придана ему извне и управляет им на дистанции. Так сложилось еще в те времена, когда русские князья ездили за ярлыками в Золотую Орду. С таким типом управления связана периодическая смена столиц в российской истории. Скажем, Петру в Москве не дали бы проводить реформы – их просто удушили бы бояре со стрельцами.

Русская власть есть субстанция – в смысле тезиса Спинозы, содержащегося в «Этике»: то, что не требует определения через что-то другое, но определяется через самое себя. Российская власть –

это субстанция, все остальное – ее функции. Будучи моносубъектом и субстанциальной силой, власть имеет двусловный характер. Русская власть, как заметил один наш мыслитель, – это Папа и Лютер в одном лице. Она имеет природу как репрессивно-подавляющую, так и революционно-реформистскую. Вспомним слова А.С. Пушкина, сказанные им великому князю Михаилу Павловичу: «Вы, Романовы, все революционеры». Один Петр – это вся Французская революция. И в этом смысле России не «нужны» партии, структуры гражданского общества, поскольку власть за нас все решит. Она может быть любой – социальной, антисоциальной и т.д.

Все это закреплено в правовом порядке: в российской Конституции 1993 г. фигура президента вынесена за рамки разделения властей (чего нет ни в одной другой конституции мира). Говорят, что у российской Конституции есть что-то общее с французской. На мой взгляд, это не так: во французской президент вписан в систему разделения властей, а в российской он стоит над этой системой. И это традиция, которую Конституция 1993 г. унаследовала от первой русской Конституции 1906 г., а обе они вырастают из конституционного плана М. Сперанского 1809 г. (главная новация состояла в том, что глава государства поставлен над системой разделения властей).

В заключение подчеркну: наша власть – не девиантна; мы же все время хотим ее исправить. Нам следует исходить, как говорил известный правовед Георг Еллинек, из «нормативности фактического». Российская власть прошла три исторические стадии: самодержавную, советскую, и нынешнюю – сейчас не буду ее характеризовать за недостатком времени. Но остается по своей сути равной самой себе и никакой другой становиться не хочет – даже после двух очень серьезных попыток демократических преобразований в начале и в конце XX в. Приходится исследовать и иметь дело именно с этой властью. На этом я поставлю точку.



**К.Г. Холодковский, ИМЭМО РАН:** Я хочу обратить ваше внимание на *нерешенные проблемы политической культуры России*. Почти четверть века назад Ю.В. Андропов, только что избранный генеральным секретарем ЦК КПСС, опубликовал статью, в которой заявил – и не без оснований, – что мы не знаем страны, в которой живем. Думается, что сейчас, спустя немалое время и после череды бурных событий, положение в этом смысле уже несколько иное. Мы приобрели большой политический опыт, нашими учеными получены важные данные и выполнен их неплохой научный анализ, так что мы уже значительно лучше представляем себе реальную ситуацию в нашей стране. Это, конечно, совершенно не означает, что такого рода знание носит исчерпывающий характер – слишком сложна и многогранна специфика страны, слишком много неожиданностей подстерегает нас и в будущем.

Сказанное целиком и полностью относится к такой важной характеристике российского общества, как его политическая культура. Благодаря трудам Ю. Левады, Б. Грушина, Б. Дубина, Л. Гудкова, А. Ахизера, Ю. Пивоварова, И. Глебовой и других исследователей мы знаем основные характеристики политической культуры – того ее ядра, которое, как показал исторический анализ, сохраняется на протяжении многих веков. Мы знаем, что эта политическая культура отягощена тяжелым наследием не переработанного критически прошлого.

Это культура не современная для нынешней Европы, консервативно-персоналистская и патерналистская культура подданных. В то же время она аккумулирует деструктивную, разрушительную, взрывную социальную энергию. Такого рода культура мешает превращению россиян из подданных в полноправных и инициативных граждан, не способствует эволюционному развитию властной системы.

Гораздо меньше мы знаем об изменениях, которые, возможно, не преобразуя общую картину, все же произошли в рамках этой культуры за последние несколько десятилетий, и особенно за последнюю четверть века, отмеченные серьезными общественными потрясениями. О чем здесь может идти речь?

Говоря о российской традиционалистской культуре столетней давности (и более раннего времени), мы имеем в виду прежде всего крестьянскую культуру – культуру подавляющего большинства тогдашнего населения. Даже среди формировавшегося рабочего класса преобладал крестьянский тип культуры с его достаточно прочными патриархальными устоями. С тех пор основное население России стало городским. Как это повлияло на политическую культуру?

В первом приближении можно сказать, что в соответствии с более разнообразными (по сравнению с сельскими) групповыми характеристиками городского населения эта культура, не

выходя за пределы общих параметров патерналистской «культуры подданных», стала, видимо, многообразнее, породив своего рода разновидности. Одно дело – политическая культура чиновничества, мелкого «служилого люда», другое – военных, третье – рабочих, четвертое (с переходом к рыночному хозяйству) – мелких и средних предпринимателей, пятое – маргинальных элементов. Кстати, этот последний компонент общества в советское и постсоветское время особенно разросся, распространив свое психологическое влияние на другие слои населения, что дало повод одному исследователю (Е. Старикову) выделить особую субкультуру – «барачную». Возможно, допустимо выделение и других субкультур – разновидностей преобладающей политической культуры, в каждой из которых усиливаются или ослабевают те или иные ее характеристики, а что-то из общего «фонда» традиционного психологического наследия выходит на первый план.

Разрушение крестьянского мира, произошедшее за последние десятилетия, повлекло еще одно последствие. Ушел в прошлое крестьянский патриархальный коллективизм (пресловутая «соборность»), являвшийся одним из оснований традиционной политической культуры. Он уступил место индивидуализму. Но это не европейский индивидуализм, который уравнивается взаимным доверием, социальной ответственностью и солидарностью, а индивидуализм атомизированного человека, лишенного осознанных социальных связей.

Как это обстоятельство сказалось на политической культуре россиян? Можно предположить, что оно, с одной стороны, сблизило нас с ценностным строем людей Запада, утончило перегородку, отделяющую российский социокультурный тип от западноевропейского. Но, с другой стороны, оно же затруднило «западный» тип поведения – учет интересов других людей, доверие к ним, объединение с ними, солидарное поведение.

И еще одно последствие. Рост образовательного уровня, непосредственно связанный с «огороживанием» населения, повысил удельный вес и роль рациональных мотивов в сознании и поведении в ущерб эмоциональным. Возможно, что в принципе это хорошо, но в российском общественном контексте это привело к затрудненному переходу индивидов от осознания к действию, особенно в тех случаях, когда осуществление этого действия сопряжено не только с «сопротивлением материала», но и с известными рисками материальных или даже физических утрат.

К этому, по-видимому, добавилось на подсознательном или даже на генетическом уровне воздействие тех колоссальных людских потерь, которые в XX в. лишили российский народ прежде всего наиболее активной его части. В результате в политической культуре и общественном поведении россиян, похоже, стало больше инертности, меньше пассионарности, чем это было несколько десятилетий назад.

Но этим изменения политической культуры, конечно, не ограничиваются. Возвращаясь к содержательной стороне, можно заметить, в частности, что, в отличие от начала XX в., демократия стала для россиян, по крайней мере на вербальном, словесном уровне, одной из несомненных ценностей. Другое дело, что представления о демократии в массовом сознании, как правило, остаются весьма туманными. Для большинства россиян главное содержание демократии – социальная справедливость, забота государства о «простом человеке».

Иногда это просто синоним «хорошего правления». Правда, в представления о демократии входит уже и часть ее реальных ценностей – свобода слова, свобода передвижения. Но одновременно в последние полтора десятилетия происходил и процесс дискредитации демократии, ассоциирующейся для многих с произволом и «беспределом» переходного периода конца XX в. Дискредитация демократии, равно как и разного рода имитации демократических институтов, характерные для России начала XXI в., затрудняют едва начавшийся процесс наполнения вербальной ценности реальным содержанием.

Эволюция российской политической культуры в последние десятилетия – чрезвычайно важная и пока что малоразработанная тема научного исследования. Но есть и еще одна сторона проблемы, которую нельзя упускать из вида при оценке перспектив общественного развития России.

Дело в том, что российская политическая культура – это не только культура традиционалистского большинства. Это еще и субкультура «продвинутого», «просвещенного», «активного» меньшинства. Роль этого меньшинства в общем контексте российской политической культуры, несомненно, требует уточнения. Не подлежит сомнению, что эволюция культуры большинства – это в том числе (хотя не только) и результат воздействия субкультуры меньшинства. Причем здесь речь идет не о простой «учительной» функции, как понимали это воздействие

интеллигенты царской России и партийные деятели советского времени. Потому что следует говорить как о позитивном, так и о негативном влиянии, и вообще о сложном процессе, не сводящемся к элементарному заимствованию.

Между тем изучение этого процесса важно еще и потому, что именно среди просвещенного меньшинства проявляется противостояние важнейших направлений общественно-политического размежевания, проходящих через всю историю России последних двух-трех столетий. Это размежевание по осям консерватизм – модернизация, западничество – самобытность, авторитаризм – демократия, элитарность – социальность. Культура большинства не в состоянии самостоятельно сформулировать эти противопоставления, поэтому человек, принадлежащий большинству, чаще всего далек от того, чтобы занять здесь какую-то осознанную позицию. В той или иной мере представления об этих конфликтах проецируются в массы (в виде слабого, легко искажаемого эха) из интеллектуальной элиты, обычно при посредстве средств массовой информации, вносящих в них существенные искажения. Легче всего (и понятно, почему) осознается конфликт по линии элитарность – социальность.

Важность фактора влияния субкультуры меньшинства заставляет задаться еще одним вопросом: расширился или сузился в последнее время социальный субстрат этой субкультуры? От этого во многом (хотя, по-видимому, непрямойно) зависят возможности ее воздействия. С этим связан и вопрос о путях и перспективах такого воздействия.

В первую очередь таким субстратом являются те слои общества, которые в исследованиях социальной структуры именуется «элитой» и «средним классом». Кавычки здесь не случайны: многие ученые не без основания считают, что и тот и другой слой в российских условиях «не дотягивает» до того уровня, на котором они находятся на Западе, где впервые были обозначены. Последнее исследование Г. Дилигенского («Люди среднего класса», 2002 г.) показало, что лишь «креативное меньшинство» в этом слое сознает свою социальную ответственность, воплощает в себе потенциал гражданственности, выступает с социальными инициативами, т.е. в своей практике является реальным представителем просвещенной субкультуры.

Противоречивые результаты дали недавние исследования российской «элиты». Первое из них («Проблема “элиты” в современной России»<sup>1</sup>), проведенное коллективом «Левада-центра», возглавляемым Л. Гудковым и Б. Дубиным, содержит весьма обескураживающие выводы о том, что политическая культура и политическое сознание большинства верхушки элитарных групп – чиновничества, офицерского корпуса, бизнеса, интеллектуалов – не слишком отличны от культуры большинства. Проведенное по несколько иной методике исследование под руководством М. Афанасьева («Российские элиты развития: запрос на новый курс». – М., 2009) показало, что внутри верхушечного слоя есть две группировки: «элита господства», занимающая командные позиции и настроенная на сохранение status quo, и «элита развития», настроенная на демократические преобразования. Ее воздействие на ситуацию, однако, ограничивается минимальным влиянием на власть (и, соответственно, на СМИ) и все той же атомизацией, дефицитом солидарности. Преодоление этих слабостей видится на путях развития гражданского общества, начиная с самых элементарных, низовых его форм, влияющих на повседневную жизнь людей.

Краткий обзор малоизученных проблем эволюции политической культуры россиян показывает, как много проблем встает перед учеными за рамками кардинального вопроса о российской исторической специфике. Важно, чтобы работы, начатые исследователями в этих направлениях, были продолжены.



**А.А. Галкин**, журнал «Политическое образование»: Тема моего выступления – *общественное сознание как элемент политической культуры: российский вариант.*

В публицистике, да и в некоторых научных работах под политической культурой нередко понимают умение и готовность значительной части населения придерживаться общепринятых правил политического поведения, т.е. необходимого минимума политической цивилизованности. Разумеется, соблюдение политических правил игры, принятых в государствах с развитыми демократическими институтами, представляет собой существенный элемент политической культуры. Однако этот элемент образует лишь один из ее слоев, причем далеко не главный. Сама же политическая культура

<sup>1</sup> Гудков Л., Дубин Б., Левада Ю. Проблема «элиты» в современной России: Размышления над результатами социологического исследования. – М., 2007.

гораздо шире. Объединяя совокупность разнообразных элементов, она является важнейшим фактором поступательного развития общества, одним из условий его самосохранения.

В данном случае под политической культурой понимается спрессованный в общественном сознании институционализированный и неинституционализированный исторический и социальный опыт национальной или наднациональной общности, оказывающий определяющее воздействие на формирование ценностных систем, общественных ориентаций и в конечном счете на поведение индивидов, малых и больших социальных групп. Иными словами, в понимании автора, политическая культура – это зафиксированная в законах, обычаях, оценках и подходах к общественным явлениям память о прошлом, сохранившаяся в обществе в целом, а также у его отдельных элементов, в первую очередь у национальных групп (в мультинациональном обществе) и социальных слоев.

Такая память определяет совокупность подходов к внутренним общественным институтам, рассматриваемым сквозь призму перипетий прошлой социальной и политической борьбы, последствий побед и поражений, а также распространяется на сферу отношений с внешним миром – другими народами и странами. Важная составная часть политической культуры – исторически обусловленное, устоявшееся, специфическое восприятие происходящего, в том числе новых явлений, возникающих проблем и, следовательно, методов их решения.

Есть ли основания, исходя из предложенной трактовки, рассматривать политическую культуру как своего рода инвариант? Представляется, что ответ на этот вопрос может быть только отрицательным. При всей устойчивости политической культуры, уходящей корнями в далекое прошлое, она не может не модифицироваться. Человеческое сообщество непрерывно приобретает новый опыт, который либо совпадает с предыдущим, либо противоречит ему. Одни элементы этого опыта укрепляют сложившиеся представления, другие – изменяют их. Особенно заметно это на тех этапах исторического развития, для которых характерны интенсивные преобразования.

Формирование, развитие и изменение политической культуры во многом зависят от ее взаимоотношений с политической системой, а следовательно, с политическим процессом. Эти взаимоотношения крайне сложны и противоречивы. Политическая система, как и политический процесс, обычно являются порождением определенной политической культуры. Вместе с тем на базе одной и той же политической культуры могут возникать и действовать различные модели политической системы. Немалое значение имеет то, что политическая система, как и политический процесс, будучи облаченными в броню нормативных установлений и институтов, обладают относительной независимостью от политической культуры. Это открывает возможность возникновения разрыва между ними.

Когда такой разрыв становится значительным, политическая система с помощью имеющихся у нее инструментов власти пытается ликвидировать его, модифицируя политическую культуру, навязывая составляющим общество социальным группам новые ценности и образцы поведения. Обычно это удается лишь частично, ибо политическая культура оказывает сильное сопротивление подобным усилиям, стремясь по возможности приспособить политическую систему и политический процесс к существующим структурам и стереотипам сознания. Тем не менее недооценивать возможности воздействия политической системы на политическую культуру и политический процесс не следует.

Переменам в политической культуре в значительной мере способствует то, что исторический опыт передается каждому следующему поколению не в чистом, а в превращенном виде, главным образом через совокупность закрепляющих его идеологических представлений. Они же нередко являются гибкими. В целом опосредующие механизмы межгенерационной передачи политической культуры действуют как консервирующий фактор. Однако, как только уровень противоречий между реальными интересами и идеологизированными формами их осмысления выходит за критическую точку, политическая культура преобразуется. Возникают новые, весьма существенные ее элементы, которые не тормозят, а, напротив, стимулируют перемены.

Многие важные особенности политической культуры обусловлены гетерогенностью ее внутренней структуры. В ней можно выделить два основных слоя: общесистемный и групповой. Общесистемный слой составляют ценности, установки, мнения и образцы поведения, сложившиеся на основании опыта, накопленного общностью в той мере, в какой она может рассматриваться (и рассматривает себя) как единое целое. Групповой слой образуют ценности, установки, мнения и образцы поведения, которые отражают специфику опыта отдельных групп, составляющих систему.

Такая специфика может быть как национальной (если общественная система является мультинациональной), так и социальной. При определенных обстоятельствах групповые различия порождаются принадлежностью к разным (обычно конкурирующим) культурно-идеологическим традициям, прежде всего религиозным конфессиям.

Глубокие различия в главных параметрах политической культуры национальных, социальных и идеологических групп, составляющих единую систему, делают оправданной постановку вопроса о политических субкультурах. В одних случаях они остаются в рамках общей политической культуры. В других – настолько отличаются от нее, что вправе рассматриваться как самостоятельные.

Важно иметь в виду также то, что различным политическим культурам свойственна разная степень открытости переменам. При высокой степени такой открытости они адаптируются к переменам без особых напряжений и издержек. В иных случаях такая адаптация сталкивается с серьезными сложностями. При этом изменения в политических культурах не являются ни непрерывными, ни однозначно поступательными. Под влиянием внешних обстоятельств они нередко приобретают дискретный и зигзагообразный характер.

По степени открытости переменам в политической культуре обычно различают относительно устойчивое ядро, образуемое основополагающими ценностными установками, и внешнюю оболочку, формируемую поверхностными влияниями. Главным элементом оболочки является текущее общественное сознание. Будучи неотъемлемой составной частью политической культуры, оно тем не менее обладает определенной автономностью, обусловленной более высоким уровнем реактивности.

Обратимся теперь непосредственно к российской ситуации, сделав при этом упор на оценку динамики общественного сознания, и прежде всего отношения граждан России к власти.

Ядро доминирующей в России политической культуры сформировалось под влиянием давних, исторически сложившихся укладов, свойственных народам, создавшим впоследствии русский этнос. Анализируя это влияние, крайне важно не поддаваться бытующим мифологическим оценкам, способным серьезно исказить реальную картину. Одна из таких оценок покоится на представлении, будто историческое прошлое русского народа, на протяжении многих столетий находившегося под гнетом иностранных захватчиков и своих собственных абсолютных властителей, пережившего длительную полосу крепостных отношений, выродившихся на последнем этапе в неприкрытое рабство, не имевшего никаких традиций самоуправления, выработало у него устойчивый менталитет, основные черты которого – терпеливость, покорность, непритязательность, неверие в свои силы и общественная пассивность. Предполагается, что подобный менталитет исключает появление у индивидов и, соответственно, у их совокупности качеств, на которых обычно зиждется политическая культура гражданственности.

Обращаясь к прошлому, сторонники этого мифа обычно весьма вольно трактуют российскую историю, выдергивая из нее отдельные эпизоды. Разумеется, в истории России было немало тяжелых и даже трагических страниц. Такие страницы не проходят бесследно для общественного сознания. Они откладывают на него глубокий отпечаток, формируя массовые стереотипы восприятия и поведения. Но реальная история состоит не только из этих страниц. Непредвзятое обращение к российской истории позволяет выявить в ней множество событий и эпизодов, выработавших в общественном сознании россиян качества, противоположные тем, которые приписывает названный выше миф.

Огромные пространства, на которых расселялись восточнославянские и близкие им племена, сложившиеся впоследствии в русский народ, суровые условия существования не только способствовали (как это иногда утверждают), а в ряде случаев, напротив, препятствовали чрезмерной централизации и, следовательно, доминированию государственного всевластия. Отсюда широкое распространение уже на ранних этапах становления национальной идентичности начал общинного самоуправления и социальной активности.

Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно присмотреться к общественному устройству регионов, ставших впоследствии главными очагами древнерусского национального самоопределения. Укрепление государственности, сопровождавшее становление Древней Руси, постоянно наталкивалось на решительное сопротивление вольнолюбивых поселенцев. Даже на гораздо более поздних этапах, после того, как российская государственность уже окончательно сложилась, противодействие самовластному насилию продолжалось, принимая самые различные формы. Экспансия московских великих князей, стремившихся объединить вокруг себя русские земли,

наталкивалась на ожесточенное сопротивление не только местных князей и боярства, но и простого люда, решительно отстаивавшего свои права, обычаи и вольности.

Народные бунты и смуты случались на протяжении всей истории Российского царства. Бунтовал простой московский люд (соляной и медный бунты), жители окраин, бунтовали стрельцы. О неискоренимом стремлении русских к свободе свидетельствовали крестьянские движения, связанные, в частности, с именами таких исторических деятелей, как Разин, Булавин, Болотников, Пугачев.

Именно на российских просторах возник такой специфический социально-политический феномен, как казачество, формировавшееся за счет беглых крестьян, не желавших терпеть крепостнический гнет и создавших на рубежах России своеобразную форму самоуправляющихся демократических общин. О масштабности этого явления можно судить хотя бы потому, что к концу XVI – началу XVII в. казачество стало социально-политической силой, накладывавшей глубокий отпечаток на судьбы России в целом. XIX век характеризовался целой серией крестьянских волнений, подрывавших устои крепостнических порядков. В свою очередь XX век стал временем глубочайших революционных потрясений, сказавшихся далеко за пределами России.

Под воздействием этой стороны истории русского народа в его сознании (и, соответственно, поведении) утвердились такие черты, как вольнолюбие, стремление к самостоятельности в решениях и действиях, настороженно-негативное отношение к власти и вообще к начальству, пренебрежительно-насмешливое отношение к поступающим сверху указаниям и законам, склонность к анархизму и т.д. И все это весьма причудливо переплеталось с теми качествами, на которые делают упор сторонники изложенного выше мифа. Отсюда крайняя противоречивость русского национального характера и, соответственно, политической культуры, объединивших в себе самые различные, иногда противоречивые черты. В их числе терпеливость и нетерпимость, покорность и бунтарство, пассивность и взлеты крайней активности, нередко выходящей за рациональные рамки. При этом в тех или иных группах общества эти черты, в зависимости от ситуации, проявляются в различных сочетаниях.

Другая мифологическая оценка, во многом вытекающая из первой, исходит из того, что традиционно сложившийся тип взаимоотношений между «верхами» и «низами» имплицитно предполагает заложенное в глубины сознания преклонение перед властью, готовность беспрекословно следовать ее предначертаниям. В действительности это совсем не так. Готовность «обожествлять» власть, приписываемая русским, не является абсолютной.

Она обычно сосредоточивается исключительно на личности, возглавляющей пирамиду политической власти. Вместе с тем в силу противоречивости исторически сложившегося массового сознания эта установка органически сочетается с восприятием даже вполне легитимной власти как силы, в принципе противостоящей и даже враждебной индивиду и обществу в целом. Отсюда ставшая традиционной формула, описывавшая отношение к власти следующим образом: «Держись от нее подальше».

Модификации политической культуры и, соответственно, общественного сознания на протяжении более близких нам этапов истории России при всей своей существенности не изменили этой черты, определявшей отношение общества к власти. С учетом колебаний, характерных для общественного сознания, в нем сложился устойчивый пласт предпочтений и ожиданий, обусловленных:

- традиционным укладом, в котором наряду с крепостничеством и другими видами докапиталистического социального неравенства сохранялись сильные патерналистские и общинные формы жизнеустройства;

- более чем 70-летним опытом государственного социализма с жесткой системой централизованного планирования и распределения, гарантированным скромным уровнем потребления для всех работников единого синдиката, ориентацией на социальное равенство, похожее на уравниловку, при ограничении политической свободы;

- краткосрочным «прорывным этапом» демократических преобразований горбачевской перестройки;

- разнородными, во многом катастрофическими последствиями правления радикал-либералов, поставивших целью полное разрушение существовавших структур и капитализацию общества в соответствии с образцами, утвердившимися в странах Запада.

Годы государственного социализма с его попытками навязать обществу проект насильственного «осчастливливания» оказали на российскую политическую культуру противоречивое воздействие. Само становление общественной системы, сопровождавшееся чередой бурных и неоднозначных революционных событий, способствовало накоплению своеобразного анархического демократизма и эгалитарных ценностей. Последовавшее за ним утверждение сталинского деспотизма, сопровождавшегося крайними формами бюрократизации общественных отношений, во многом реанимировало традиционные отношения общества и власти.

«Оттепель» второй половины 50-х – первой половины 60-х годов, послужив стимулом пробуждения общества от «спячки», имела одним из следствий ценностный и политический раскол политической культуры на две своеобразные субкультуры: традиционалистов («консерваторов») и прогрессистов. Последующие попытки реанимировать сталинизм дали лишь ограниченные результаты. Раскол общества был отодвинут в тень, но сохранился. Вместе с тем прогрессирующая бюрократизация и все более явственное перерождение правящего слоя стимулировали дальнейшее отчуждение значительной части населения России от понятия социализм, отождествляемого с тем, с чем она сталкивалась в реальной жизни.

Недовольство оставалось в то время аморфным. Его наиболее рельефное выражение – подчеркнутая отстраненность от власти. Большинство населения не было готово к активным акциям протеста, но и не проявляло намерения выступать в защиту «начальства» от тех, кто его атакует. Не было сколько-нибудь ясного целеполагания и у активной части граждан. Существовало представление о том, против чего следует бороться. Гораздо сложнее было с ответом на вопрос, чего следует добиваться? Тем не менее уже в то время наметились первые признаки дифференциации движения за перемены на идейные течения, располагавшие специфической системой ценностей: обновительно-социалистическое, традиционалистско-националистическое и неолиберально-западническое.

В целом, однако, семь десятилетий существования государственного социализма в преимущественно крестьянской стране с доминированием патерналистских и патриархально-общинных ценностей сформировали в массовых слоях, вне зависимости от политических симпатий или антипатий, специфические представления о предпочтительном общественном укладе. Для него характерны: ориентация на высокую стабильность достигнутых условий существования; повышенные социальные ожидания, связанные с деятельностью государства; отношение к бесплатному образованию и здравоохранению, к дешевому жилью и отдыху как неотъемлемым составляющим образа жизни; неприятие чересчур заметного разрыва в условиях существования различных групп населения. К этим представлениям можно по-разному относиться, но не считаться с ними, по крайней мере при анализе, практически невозможно.

То же можно сказать о годах перестройки. Отношение к ней в российском обществе неоднозначно. Вне зависимости от этого отношения следует признать: хотя обновление страны, предпринятое в ходе перестройки, оказалось более сложным, чем предполагалось вначале, за ее недолгий срок страна совершила исторический прорыв, открывший ей путь к развитию, соответствующему императивам новой эпохи.

В свое время – по мере углублявшегося отставания СССР от наиболее развитых стран Запада, ассоциируемых с капитализмом, – в сознании многих граждан Советского Союза сложился идеализированный образ «Запада» как «острова благоденствия», на котором царит справедливость, отсутствуют социальные барьеры и общедоступны высококачественные материальные блага. Этот образ и воспринимался как современный капитализм. Утвердившееся в советское время негативное отношение к этому понятию сменилось нейтральным, а во многих случаях позитивным. Отсюда эйфория, с которой была воспринята многими идея коренных общественных перемен. На первом этапе речь шла о совершенствовании социализма, однако вскоре произошел решительный поворот в сторону капитализма.

Спустя несколько лет завышенные ожидания сменились у многих разочарованием. Обещания, данные строителями капиталистического строя в момент их прихода к власти, выполнены не были. Общество распалось на выигравшее меньшинство и проигравшее большинство. Последнее утвердилось в негативном отношении к «российскому капитализму», отрицающему социальные обязательства государства перед индивидом. При этом в массе населения сохранился приоритет



ценностей социальной ответственности власти, имеющих традиционные общинно-коллективистские корни.

На социальном самочувствии стали все острее сказываться и обусловленная общим кризисом потеря уверенности в будущем, и всестороннее ухудшение материальных условий существования, и утрата социальных гарантий, и развал существовавших прежде форм общественных контактов, и т.д. Все это, в свою очередь, создало питательную почву для возрождения и углубления традиционного для российской политической культуры отчуждения общества от власти.

С приходом к управлению государством новой команды это отчуждение несколько ослабело. Власть обрела кредит доверия. Обращалось она с ним, мягко говоря, недостаточно бережно. Высокомерие власти, проявлявшееся при принятии даже правильных решений, ее увлечение административными играми, обернувшимися новым всплеском бюрократизма, ослабление системы обратной связи и разгул коррупции вновь породили отчуждение между нею и обществом. Понимание этого верхами, во всяком случае наиболее продвинутой их частью, налицо. Так же как и намерение поискать новые пути к установлению более доверительных отношений с обществом.

До сих пор социологические опросы, позволяющие оценить состояние общественного сознания, как бы воспроизводят традиционную для России закономерность: сохранение высокого доверия населения к представителям верховной власти при одновременном недоверии к политическим институтам и власти на местах. Однако в какой мере эту ситуацию можно рассматривать как устойчивую, оценить пока трудно. В то же время очевидно, что стержневую основу массового сознания – в том, что касается основ проводимой политики, – до сих пор образуют следующие установки:

– устойчивое убеждение, что сложившаяся в стране политическая система отражает интересы богатой части общества и игнорирует потребности и запросы менее зажиточного большинства и, следовательно, любые исходящие от нее импульсы несут этому большинству потери;

– представление, что крупная собственность, появившаяся в стране в 90-е годы прошлого века (прежде всего попавшая в руки так называемых олигархов), – результат махинаций, нанесших неисчислимый урон обществу и государству;

– опасение, что в сложившихся условиях не приходится рассчитывать на создание (или хотя бы частичное восстановление) в стране такой системы социальных амортизаторов, которая позволит каждому члену общества надеяться на то, что компенсацией за его позитивный трудовой вклад в общее дело будут гарантии приемлемых условий существования на всех этапах жизни;

– понимание того, что шансы простого гражданина на вертикальную социальную мобильность, несмотря на все его усилия, при нынешних обстоятельствах минимальны и сейчас, в ситуации глубокого экономического кризиса, речь может идти лишь о примитивном выживании;

– представление, что в обществе, в основе которого лежит совокупность правонарушений, право не может считаться регулятором взаимоотношений между гражданами и поэтому с ним можно не считаться.

Растущее озлобление по отношению к действительным или мнимым виновникам ситуации, воспринимающейся в лучшем случае как неблагоприятная, реализуется в различных формах. Одна из них, как уже отмечалось, основана на представлении, что во всех бедах, свалившихся на большинство граждан России, виновны воры и взяточники, засевшие во властных структурах. Отсюда широкая – и вполне обоснованная – поддержка идеи их «всеобщей чистки». Другая форма, не столь распространенная, но тем не менее все более заметная, замешена на ксенофобских предрассудках, питаемых, как и во многих странах Запада, массовым притоком иммигрантов из стран с более низким уровнем жизни.

Специфическую форму сублимации социального недовольства образует все более заметная враждебность населения российской «глубинки» к столичным мегаполисам, и прежде всего к Москве. Почву, на которой произрастает эта враждебность, образуют, с одной стороны, все более заметный разрыв в условиях существования провинциального и столичного населения, а с другой – усиление унитарных настроений в федеральных структурах власти, нашедшее проявление в постоянных попытках урезать права и компетенции субъектов Федерации. Отсюда утвердившееся в российской «глубинке» представление, что относительное благополучие столичных жителей основано не на том, что в столицах сосредоточены главные центры производства и финансов, но

прежде всего на том, что Москва и в какой-то степени Питер «обирают» остальную Россию, «жируют» за ее счет.

На этой основе формируется протестный потенциал. Надлежит учитывать, что само по себе недовольство властью не рождает общественной активности. Первоначально наступает индивидуальное отчуждение от политики. Потом начинает нарастать социальное раздражение, сопровождаемое унынием и предчувствием близящейся катастрофы, которые, в свою очередь, подталкивают к уходу от реальности (массовое пьянство, наркомания и т.д.).

Соответственно, возрастает уровень криминализации населения. При этом нередко происходит замещение объекта недовольства. Социальное раздражение сублимируется в повышенную агрессивность, направленную на искусственно сконструированного «врага». И только затем прорезывается всеобщая откровенная враждебность власти, способная вылиться в более или менее осознанные проявления протеста. Однако до тех пор, пока власть не переходит границы, за которыми терпеть уже физически невозможно, основная масса граждан – вне зависимости от ее отношения к правящим политическим силам – не выйдет за пределы конституционного поля. Исторический опыт, зафиксированный в общественном сознании, сформировал у населения России стойкое убеждение, что такие действия не принесут решения назревших проблем, а лишь ухудшат условия существования.

При глубоком недоверии институтам власти, традиционном отчужденно-пассивном отношении к политике и высоком уровне социального недовольства в обществе накопился большой потенциал скрытой гражданской активности, которая пока не находит адекватного выхода. Поэтому небольшие колебания социально-экономической или политической ситуации могут мгновенно преобразить политическую и гражданскую отстраненность в активизм, в том числе в самых острых формах. Если это произойдет, то крайне важно – прежде всего для судеб самой России, – чтобы этот активизм реализовался по каналам гражданского общества, а не перехлестнул их.

Особенно сильна такая опасность в условиях, когда из-за несостоятельности власти кредит доверия к ней исчерпан. Население становится особенно восприимчивым к примитивным объяснениям событий, предельно простым способам решения проблем. Упрощая, можно сказать, что на высоком уровне кризисного развития общественное сознание как бы жаждет быть обманутым и поэтому охотно открывается любому ловкому политикану.

Первоочередной задачей в связи с этим следует считать преодоление опасной отчужденности между гражданами и властью. Оно возможно лишь в том случае, когда обществу будет представлено убедительное свидетельство готовности верхов кардинально изменить проводимый ранее курс. Таким свидетельством, насколько можно судить на основании опыта других стран, являются институциональные изменения, открывающие большие, чем прежде, возможности влияния общества на политические решения, и радикальные кадровые перемены, предполагающие выдвижение на видные государственные позиции деятелей, обладающих безусловным общественным авторитетом.

Первостепенное значение имеют и внешние атрибуты поведения верхушки правящей элиты. Ее образ жизни и структура потребления должны демонстрировать то крайне важное для общественного сознания обстоятельство, что представители высших эшелонов власти не считают себя небожителями, возвышающимися над обществом и призванными «владеть и править», но осознают свою роль чиновников, наделенных определенными функциями и несущих ответственность перед гражданами за исполнение своего служебного долга.



**А.Н. Медушевский**, журнал «Российская история»: Я буду говорить о *взаимодействии общества и политической власти, установлении обратных связей между ними в реализации Основного закона*. Актуализация этой темы связана с формированием в России явления конституционного параллелизма: фактического существования двух конституций, одна из которых зафиксирована в тексте Основного закона, принятого в 1993 г., другая – представляет собой систему неформального (реального) функционирования политической системы, властных институтов и их взаимоотношений с обществом. Этот феномен не является исключительно российским: повсюду в мире существует определенный разрыв между конституцией как общественным идеалом и так называемой «рабочей конституцией», которая в концентрированном виде отражает механизм политического режима, практику судов, ситуационные условия деятельности политических партий,

общественных организаций и гражданского общества в целом. Однако соотношение между формальной и реальной конституциями может быть совершенно различным.

Представим эти различия в виде трех моделей: формальная и реальная конституции могут дополнять друг друга (ситуация функционирующей демократии); находиться в конфликте между собой (ситуация нестабильных демократий); наконец, вступать в непримиримое противоречие (авторитарные режимы). Постсоветская ситуация вполне может быть отнесена ко второй модели: результатом конституционной революции 1993 г. стало принятие либеральной Конституции РФ 1993 г., которая опережала развитие политической системы и была принята в известном смысле «на вырост». Она фиксировала институты, которых просто не было в реальности (как, например, частная собственность). Внутреннее противоречие между установленными нормами позитивного права и политической практикой, носившей квазиконституционный характер, было неизбежно для общества переходного периода.

Очевидно, что это противоречие может быть разрешено двумя способами: подтягиванием социальной реальности до уровня конституционных норм (и тогда формируется первая модель) или пересмотром Конституции под старую реальность. Тогда возникает параконституционализм, при котором либеральные положения Конституции становятся все более декларативными, все менее соответствуют политической практике, а со временем просто устраняются из Основного закона. Демократический переходный период при таком развитии событий (как показывает опыт многих развивающихся стран) заканчивается установлением авторитарного режима. Эта тенденция в России последнего десятилетия, очевидно, набирает силу, что актуализирует механизм обратных связей: если гражданское общество и властвующая элита признают факт эрозии демократических ценностей и считают его опасным, они должны пойти на диалог и найти адекватное институциональное и политическое решение проблемы.

В связи с вышеизложенным возникает вопрос: является ли Конституция общественным договором между обществом и государственной властью, содержание которого может быть обсуждаемо? Действительно, исторически идея конституционализма вытекает из теории, объяснявшей возникновение гражданского общества и государства заключением договора между индивидами или обществом и властью. Несмотря на метафизический характер теории (т.е. ее неподтвержденность историческими фактами), она оказала преобладающее влияние на становление конституционных систем. Конституции являлись письменной фиксацией общественного договора; в их структуре вводился важнейший элемент договора – декларации прав человека и гражданина.

В современной политической лексике «общественный договор» – это, скорее, метафора, обозначающая наличие определенного консенсуса в обществе. Как правило, она указывает на достижение согласия между политическими партиями, общественными организациями и властными группами по определенным, стратегически приоритетным направлениям развития или вопросам интерпретации конституции. Не случайно актуализация этой терминологии приходится на эпохи демократического перехода в странах Южной Европы 1970-х годов или Восточной Европы 1990-х, когда основные приоритеты вырабатывались с учетом мнения власти и оппозиции («Пакты Монклоа» и принятие Конституции 1978 г. в Испании или «круглые столы» в некоторых странах Восточной Европы периода «бархатных революций»). Понятие «общественного договора» становится значимым в концепции консоциативной демократии, предполагающей поиск приемлемых демократических решений в расколотом обществе путем диалога элит (Канада, Южная Африка и т.д.).

В России договорная модель разрешения острых социальных конфликтов никогда не была востребована. Это подтверждает историческая судьба институтов согласования конфликтных интересов – Демократического совещания, Предпарламента и Директории 1917 г., Учредительного собрания в 1918 г. Не сложилась договорная модель и в момент политического кризиса конца XX в. Об этом свидетельствует процесс принятия Конституции России 1993 г. и судьба институтов поиска социального консенсуса: проекта договоров о согласии общественных и политических сил, Демократического совещания, Гражданского форума и др.

Причинами сворачивания деятельности институтов согласования интересов являются общая слабость и аморфность гражданского общества, неартикулированность партийной системы, а также правовой нигилизм населения и элит. Для того чтобы Конституция действительно стала «общественным договором», необходимо заставить работать институты примирения конфликтов в

рамках правового поля, преодолеть ценностный раскол в обществе в отношении конституционных норм, выработать общепринятые стандарты демократического участия, т.е. фактически радикально изменить всю политическую культуру нашего общества.

В какой мере российское гражданское общество готово к решению этих проблем? Когда мы говорим о гражданском обществе, необходимо выделить три основных параметра: степень его организованности, уровень осознания его представителями своей политической идентичности, возможности коммуникации с государственными институтами и элитами. По первому параметру можно констатировать определенный позитивный сдвиг, особенно если учитывать полное подавление гражданского общества в советский период.

Когда мы говорим о слабости гражданского общества, то имеем в виду не только количественно выраженные параметры, но и ценностные ориентиры, далекие от принятия демократических стандартов. Принципиальный показатель – негативная оценка значительной частью общества преобразований 90-х годов XX в. Конечно, это в значительной степени реакция на экономические трудности и утрату имперского могущества. Однако в целом такая оценка совершенно игнорирует факт политического раскрепощения – приобретение обществом в результате уничтожения однопартийной диктатуры фундаментальных прав и свобод. Это очень напоминает оценку бывшими крепостными Великой реформы Александра II. Массы, политически деградировавшие в советский период, не могут смириться с отсутствием жесткой руки. Как показывают социологические опросы, более 50% населения считают сталинизм позитивным явлением русской истории (что, впрочем, не в последнюю очередь является отражением приоритетов современной информационной политики). Поэтому не вызывает удивления факт общественного раскола в отношении действующей Конституции.

В обществе есть силы, которые хотели бы реставрации прежней системы – вплоть до восстановления номинального советского конституционализма. Мнимые «друзья народа» научились использовать демократические нормы для пропаганды недемократических порядков. Продолжается поиск «особого», отличного от мирового пути России к демократии. Суррогатные институты квазипредставительства называют парламентаризмом «особого рода», совершая элементарную подмену понятий.

Таким образом, готовность гражданского общества к полноценному политическому участию есть не результат, но процесс: она формируется по мере осознания им своей социальной идентичности, способности оппонировать антилиберальным тенденциям и развития каналов коммуникации, позволяющих определять условия «общественного договора», т.е. характер социального консенсуса. В России, однако, всегда побеждает идея отложенного консенсуса, который принимается не как категорический, а скорее как гипотетический императив (т.е. сама возможность его установления сопровождается известными оговорками).

Чем определяется возможность политического участия гражданского общества? Стратификация гражданского общества по такому критерию, как политическое участие, наиболее информативна для выявления общего вектора его развития. Исследователи говорят о существовании ряда социальных слоев и групп: собственно гражданского общества (как наиболее широкого понятия) и далее, по степени сужения объема – политического класса, правящего класса и властвующей элиты. Все эти слои в неодинаковой степени вовлечены в политику.

Население в России традиционно было вне политики. Она являлась уделом незначительной части общества. Сейчас в России политика делается на уровне элит при некотором участии политического класса. *Гражданское общество отсутствует в схеме.* Но это – очень узкие рамки. Даже если обеспечить систему обратных связей в таком узком пространстве, она будет иметь ограниченный характер. Однако любая политика, тем более в условиях кризиса, предполагает поиск социальной опоры. Эта задача не так проста, как может показаться на первый взгляд, поскольку она не сводится исключительно к раздаче привилегий или технологическому манипулированию социальными группами. Стержень этой политики – в отыскании основы консенсуса: тех ценностных ориентиров, которые способны обеспечить стабильность и предсказуемость политического процесса. Задача состоит в том, чтобы активизировать все компоненты широкого гражданского общества. Это предполагает либерализацию политического режима.

В отношениях общества и государственной власти в современной России вновь проступает патерналистская составляющая (что все чаще рассматривается как долгожданное возвращение к

историческим «истокам»). Каналы коммуникации между гражданским обществом и политической властью хорошо известны: это всеобщие выборы на многопартийной основе, эффективный парламентаризм, развитая структура активных неправительственных организаций (НПО), независимые и профессиональные судьи, пользующиеся доверием общества, активные СМИ, доводящие до общества реальную информацию о политическом процессе и дающие его критический анализ (в современном обществе именно пресса обеспечивает необходимые каналы коммуникации и систему обратных связей).

Если эти институты по тем или иным причинам перестают работать, возникает потребность в их имитационном воспроизведении. В эту конструкцию вполне вписываются слабый парламентаризм и такие в сущности суррогатные институты, как Общественная палата (ставшая механизмом селекции общественных инициатив), общественные приемные (выражающие традиционную патерналистскую легитимность), а также напоминающая монархические традиции практика встреч главы государства с представителями «цензовой» демократической общественности (показательно, что у нас обсуждается лишь вопрос о том, насколько регулярными будут эти встречи, но не сам формат диалога).

Концепция «управляемой демократии», возможно, дающая определенный мобилизационный эффект в краткосрочной перспективе, в длительной перспективе ведет к сужению каналов обратной связи и в конечном счете к стагнации. Как показывает опыт брежневизма, стагнирующие режимы при внешней крепости оказываются чрезвычайно непрочны в ситуации кризиса. Напротив, режимы, сохраняющие конкурентную политическую среду, при внешней непрочности оказываются более стабильными и гибкими по отношению к внешним вызовам.

Можно ли выделить какие-то системные особенности отношений общества и государства в России, в принципе исключающие демократический и конституционный векторы развития? Нет. Следует говорить об исторических особенностях российской политической системы и связанных с ними культурных стереотипах, но нельзя делать на этой основе вывод о принципиальной невозможности либерального конституционного проекта в России. Сам факт воспроизводства авторитарного режима на разных стадиях исторического процесса служит для некоторых публицистов почвеннического направления неопровержимым доказательством того, что в России сложилась особая система власти, которая не поддается реформированию и отторгает конституционализм, так сказать, на системном уровне. Одни сожалеют об этом, другие, напротив, приветствуют, усматривая в этом феномене выражение «самобытности» российской государственности, которую не следует перекраивать по западным лекалам. Сравнительная типология политических режимов, однако, позволяет найти вполне убедительные аргументы против этого вывода. То, что признается главной исторической «особенностью» российской системы власти, выступает таковой лишь при сравнении с развитыми западными формами конституционализма.

Следует подчеркнуть, что конституционализм – самостоятельный элемент политической модернизации. Более того, основной элемент такой модернизации в Новейшее время. Можно даже сказать, что это наиболее рациональная технология построения современного демократического государства. Поэтому всегда существует выбор: принимать эту технологию или нет. Сравнение двух немецких государств – Западной и Восточной Германии, двух китайских государств – КНР и Тайваня, двух корейских государств – Северного и Южного – хорошо иллюстрирует этот вывод. При сходных экономических, социальных и религиозных исторических традициях осознанный выбор технологии построения государства приводит к диаметрально противоположным результатам и в конечном счете оказывает эффективное обратное воздействие на экономический и социальный строй.

Выбор вектора развития совершенно свободен, здесь нет никакой фатальности (если, конечно, элиминировать фактор внешнего воздействия на ситуацию выбора). В известной формуле Гегеля следует подчеркнуть вторую ее часть: «Все разумное – действительно». Поэтому выбор между демократией и авторитаризмом в России имеет вполне прагматический характер.

История, конечно, многое объясняет и без нее нельзя понять современную российскую ситуацию, но из этого не следует, что она всегда служит хорошим ориентиром на будущее. Не нужно механистически объяснять недостатки современной политической системы и тем более стратегию развития ее пороками в прошлом. Есть в истории такое наследие, от которого лучше отказаться и не переносить в будущее. Для общества поэтому чрезвычайно важна критика исторического опыта, понимание того, от какого наследия мы отказываемся и почему.

В истории России уже предпринимались попытки радикального переустройства политической системы. В связи с этим возникает вопрос: в какой мере исторический опыт российского конституционализма информативен для решения современных проблем? Прежде всего, нужно опровергнуть два крайних суждения: об органической невосприимчивости России к конституционным ограничениям власти, с одной стороны, и противоположное утверждение – о том, что в России конституционализм существовал всегда, но имел особую природу, отличную от западных его форм, – с другой. Первое утверждение опровергается тем фактом, что в России существовала длительная история дебатов об ограничении монархической власти, восходящая к конфликтам боярской аристократии с государями еще в период формирования централизованного государства. Следует также помнить о традиции конституционных проектов: они регулярно создавались оппозицией в Новое время начиная с XVIII в. (первый оформленный проект – Кондиции Верховного тайного совета 1730 г.). Наиболее разработанными документами такого рода стали проекты русского либерализма, подготовленные Конституционно-демократической партией в канун революции 1905 г. и заложившие основу трансформации абсолютизма в дуалистическую монархию.

Второе утверждение – в России всегда был конституционализм, но «особого рода», основанный на соборности и симфонии общества и власти, вечевых традициях, общинных институтах, земских соборах, так называемом правительственном конституционализме, – также не соответствует действительности. Здесь очевидна логическая подмена понятий: в традиционных институтах (как и в институтах номинального конституционализма советского периода, представлявших их испорченную копию) речь шла не о подлинном ограничении политической власти со стороны общества, но лишь о попытках легитимации власти путем совета с «землей». Сторонникам этой позиции следует напомнить римскую формулу: «An nescis longas regibus esse manus» («Разве ты не знаешь, что у царей длинные руки?»).

Конечно, проблема России заключается в том, что реальный переход к конституционному строю начал осуществляться очень поздно, в начале XX в., с большим опозданием по сравнению с другими государствами Европы и даже Азии (например, Конституция Мэйдзи в Японии) и очень быстро был остановлен большевистским режимом однопартийной диктатуры, принципы которого оставались неизменны до 90-х годов XX в. Поэтому на протяжении большей части истории Нового и Новейшего времени у нас не было даже тех эфемерных форм конституционализма, которые существовали, например, в странах Южной Европы и Латинской Америки.

В условиях абсолютного преобладания государственного начала над обществом и крайней слабости последнего решение проблем политического переустройства всегда было неустойчиво и напоминало колебания маятника: от анархии до авторитаризма в разных формах – монархического абсолютизма, советского однопартийного режима с культом личности или, наконец, сверхпрезидентского режима, вызывающего ассоциации с цезаристско-бонапартистской традицией.

Как можно объяснить эту негативную динамику, почему периоды движения к конституционализму сменяются возвратными движениями? Историческая динамика российского конституционализма представляет собой специфический вариант цикличности. Я предлагаю теорию конституционных циклов, которая, по аналогии с теорией экономических циклов Кондратьева, раскрывает механизм конституционных изменений как смену трех основных фаз: отказ от прежней конституции (деконституционализация), принятие новой (конституционализация) и трансформация последней под влиянием социальной реальности (реконституционализация). Это, в свою очередь, связано со сменой социально-психологического состояния общества.

В России выделяются три больших цикла конституционализма: протоконституционализм начала XVII в., конституционные циклы начала и конца XX столетия. Их отправной точкой является конституционная революция (радикальный отказ от предшествующего Основного закона), высшая фаза представлена принятием новой конституции, а завершение связано с трудным процессом согласования Основного закона с социальной реальностью. На этой третьей фазе в России исторически всегда доминировала та или иная форма авторитаризма.

Следуя этой логике, мы должны признать, что современный период должен быть определен как заключительная фаза третьего цикла, начатого конституционной революцией конца XX в. Как и в ходе предшествующих циклов, мы становимся свидетелями трудного поиска соотношения новых конституционных норм (отчасти заимствованных извне, отчасти соответствующих предшествующим либеральным традициям) и меняющейся социальной реальности.

Так возникает феномен конституционного параллелизма, который вновь ставит нас перед дилеммой демократии и авторитаризма, выбора вектора будущего развития политической системы. Именно на этой фазе закладывается основа той политической системы, которая может просуществовать достаточно долго. Вопрос заключается в том, удастся ли на этот раз преодолеть традиционный выбор в пользу авторитаризма или он вновь окажется доминирующим и цикл получит привычное завершение.



**А.Н. Аринин**, журнал «Политическое образование»: Остановлюсь подробнее на *взаимоотношении власти и общества в России в 1990–2009 гг.* При характеристике политической культуры России следует, на мой взгляд, исходить из двух положений.

Во-первых, политическая культура постоянно развивается и меняется: это не застывшая социальная плазма, а живое творчество граждан, реализующих свой свободный выбор и отвечающих за него. Цель такого творчества – совершенствование человека и общества, что есть объективный закон общественного развития. Этот закон в принципе исключает возможность существования замкнутых, неизменяющихся систем власти и политических культур при общности глобальных условий жизни народов мира и универсальности вызовов человечеству.

Во-вторых, в информационную эпоху процесс изменения политической культуры идет гораздо стремительнее, чем раньше. Информация, передача знаний стали сейчас фундаментальным источником развития общества. Это мотивирует людей активнее участвовать в жизни своего государства, энергичнее защищать собственные права и свободы. Люди получили возможность выбирать варианты решения тех или иных проблем. Их участие в жизни государства заключается в активном гражданском контроле над деятельностью власти. Информационная эпоха, таким образом, стимулирует общество устанавливать обратную связь с государственной властью с целью повышения ее эффективности.

Исходя из этого и следует характеризовать отношения власти и общества в России в 1990–2009 гг. За эти годы Россия прошла условно два этапа преобразований. Первый этап (с июня 1990 г., момента принятия Декларации о государственном суверенитете России, по август 1998 г.) характеризуется, с одной стороны, демонтажем плановой экономической и советской политической систем, а с другой – формированием новых экономических, политических и общественных отношений. Все эти годы государственная власть из-за безответственности, повсеместного нарушения закона и масштабной коррупции была неэффективна. Как следствие, процесс преобразований в стране осуществлялся с огромными ошибками, массовыми нарушениями прав и свобод человека, что тяжело отразилось на состоянии дел в экономике и социальной сфере. Вместе с тем россияне достойно прошли этот труднейший этап жизни страны. Главной движущей силой развития России является российский народ. Когда в начале 90-х годов в стране рухнули планово-распределительная экономика, социалистические общественные отношения и политика государственного патернализма, россияне оказались в условиях свободного выбора в решении своей судьбы.

Поэтому не могу согласиться с утверждением Юрия Сергеевича Пивоварова о том, что власть в России имеет «неполитический характер», «она носила и носит сейчас характер непонятный, метафизический», что власть «не порождена обществом, а придана ему извне и управляет им на дистанции». Эти рассуждения, на мой взгляд, не имеют объективной основы и носят предвзятый характер. В то же время следует признать, что из-за нарушения избирательных прав граждан, отсутствия широких слоев среднего класса выборы в регионах и на местном уровне во многом не отвечали демократическим нормам.

На мой взгляд, нельзя также согласиться и с точкой зрения, согласно которой в России «власть не договорная, в отличие от европейской, – ей просто не с кем договариваться», так как она является «моносубъектом русской истории». Вспомним отечественную историю. Еще со времен Древней Руси существовал институт договора между князем и народом. С помощью института веча – народного собрания как верховного органа власти городов-государств второй половины XI – начала XIII в. – народ влиял на ход политической жизни. Конечно, договорной характер власти на Руси был подорван монгольским завоеванием. Однако вплоть до конца XV в. в Новгородской и Псковской республиках вече оставалось главным гарантом договорного института власти.

Пятивековая традиция народных собраний в Киевской и Новгородской Руси в Московском государстве в XVI в. преобразовалась в Земской собор. Н.И. Костомаров по этому поводу писал, что в XI–XV вв. существовали «вече по одиночке, но никто не додумался до великой мысли образовать одно вече всех русских земель – вече веч». Земской собор решал достаточно широкий круг вопросов – устанавливал законы (соборы 1550, 1649 гг.), решал вопросы войны и мира (соборы 1566, 1632, 1634 гг.), санкционировал реформы и новые налоги (соборы 1549 и 1649 гг.), наконец, избирал нового царя (соборы 1584, 1598, 1613 гг.).

Договорные отношения сохранились между правящим классом – боярством – и московскими государями. В.О. Ключевский, непревзойденный до сих пор знаток московских элит, указывает: «Среди титулованного боярства XVI века утверждается взгляд на свое правительственное значение не как на пожалование московского государя, а как на свое наследственное право, доставшееся им от предков независимо от этого государя». Боярство смотрело «на себя как на собрание общепризнанных властителей Русской земли, а на Москву как на сборный пункт, откуда они по-прежнему будут править Русской землей, только не по частям и не в одиночку, а совместно... и всей землей в совокупности. Значит, в новом московском боярстве предание власти, шедшее из удельных веков, не прервалось, а только преобразовалось». Добавим к этому, что и старые нетитулованные московские бояре были, по мнению Ключевского, «вольными слугами князя по договору». Совершенно непонятно, каким образом могла в такой стране установиться «не договорная, моносубъектная власть».

Если говорить о современной политической культуре России, то здесь тем более нет оснований рассуждать о том, что власть у нас не договорная, ибо ей не с кем договариваться. Вне всякого сомнения, без доверия и поддержки власти в 1990–1993 гг. российским обществом реформы были бы невозможны. В декабре 1993 г. на всенародном референдуме за новую Конституцию России проголосовало свыше 57% российских граждан. Таким образом, Конституция стала специальной договоренностью между государством, с одной стороны, и гражданами – с другой.

Неверно, на мой взгляд, рассуждать и о том, что российское общество не меняет своего отношения к власти. Так, на грубые ошибки в проведении реформ в 1992–1993 гг. и на расстрел парламента россияне ответили протестным голосованием в Государственную думу в декабре 1993 г., отдав свои голоса ЛДПР. Обнищание большинства россиян в результате радикальных реформ заставило их проголосовать на выборах в Государственную думу в 1995 г. за КПРФ, а на выборах Президента России в 1996 г. едва не победил Г.Зюганов.

Общество выбирало власть на федеральном, региональном и местном уровнях, строго реагируя на нарушения общественного договора. Вместе с тем общество оказалось не в состоянии заставить власть (федеральную, региональную и местную) добросовестно исполнять закон, соблюдать права и свободы человека, компетентно управлять финансовыми и материальными ресурсами, качественно и своевременно оказывать публичные услуги людям. Безусловно, Россия могла бы развиваться интенсивнее, если бы ей не препятствовали беззаконие, безответственность, некомпетентность и коррупция власти, которые во многом были обусловлены непрозрачностью ее деятельности и, следовательно, отсутствием эффективного гражданского контроля над ней.

Второй этап преобразований в России (с сентября 1998 г. по август 2008 г.) характеризовался в первую очередь восстановлением российской государственности, усилением роли государственной власти в регулировании экономики, что обусловило ее подъем. Он был связан также с формированием устойчивой, дееспособной политической системы, возвращением России на мировую арену как сильного государства, с которым считаются и которое может постоять за себя, пробуждением самосознания российского народа и ощущения самоценности России.

Все это стало возможным благодаря поддержке российским обществом курса президента страны В. Путина на защиту национальных интересов России: обеспечение ее конституционного и территориального единства, усиление регулирующей роли государства в экономике, отстранение олигархов от власти, повышение жизненного уровня россиян. По сути, это был новый общественный договор, ориентированный на восстановительно-стабилизационные процессы.


Сегодня финансово-экономический кризис объективно требует от российского правящего класса создать необходимые условия для неукоснительного исполнения закона, формирования компетентной власти, мотивации к производительному труду, проявлению деловой энергии и




инициативы. По существу, сегодня страна стоит перед третьим этапом преобразований – этапом модернизации России.

**И.И. Глебова**, ИНИОН РАН: Уважаемые коллеги, пожалуйста, вопросы к выступавшим докладчикам.

**Ю.С. Пивоваров:** У меня вопрос к Кириллу Георгиевичу Холодковскому. Вы говорили очень важные вещи об эволюции политической культуры – например, о том, что в XX в. произошли падение патриархального коллективизма и становление атомизированного индивидуализма. Какие еще важные, на Ваш взгляд, изменения можно отметить?


 **К.Г. Холодковский:** Затрудняюсь дать исчерпывающий ответ. Я думаю, что традиционная политическая культура утратила внутреннее единство и стала многообразной в своих проявлениях. Может быть, это связано с усложнившейся структурой общества: сейчас почти исчезла деревня и большую роль играет город. А город – это нечто более многообразное. Политическая культура играет сейчас разными своими ипостасями гораздо больше, чем это было в начале прошлого века.

**Б.И. Коваль,** журнал «Политическое образование»: Когда Вы говорили о массовом восприятии демократии (усвоена на вербальном уровне, принята более образованным слоем), Вы не характеризовали связь демократии со справедливостью. Ведь справедливость – это основа демократии. И в глубине народа сохраняется неизбывная и неудовлетворенная тяга к справедливости.

 **К.Г. Холодковский:** Справедливость каждая группа, каждый социальный слой понимает по-своему. У нас нет той культуры «обтачивания» этого понятия, которая исторически сложилась на Западе. Когда-то социальная справедливость появилась в значении «равенство положения». Потом оно было практически отвергнуто. У нас этого не произошло.

**И.И. Глебова:** Позвольте мне добавить. Когда у наших граждан сейчас спрашивают: «Что происходит в российской политике?» – большинство отвечает, что строится демократия. Раньше все терялись, когда им задавали вопрос: «А что вы понимаете под демократией?» Теперь знают: это сосредоточение власти в руках президента, государственный контроль над экономикой, СМИ и т.д. – при сохранении потребительских свобод и независимости частной жизни. Видимо, и понятие «справедливость» должно быть расшифровано «сверху». «Верхи» явно заинтересованы в переинтерпретации понятия – ведь основная часть населения исторически ориентирована на распределительную модель. В соответствии с ней справедливы не гарантированное законом равенство прав и социальная защищенность неимущих, а материально-имущественное поравнение, приведение большинства к некоему «срединному» эталону. Кстати, такая доминирующая установка плохо согласуется с демократической идеей. Точнее, свидетельствует о «первобытном демократизме» массового сознания.

**И.С. Семенов,** ИМЭМО РАН: Юрий Сергеевич Пивоваров говорил о сложной природе русской власти, о наличии в ней репрессивно-подавляющей и революционно-реформистской компоненты. Власть выглядит у него как двуликий Янус. Кирилл Георгиевич Холодковский несколько иначе поставил вопрос, но, мне кажется, речь шла об одном и том же. Он говорил об элите господства и об элите, которая ориентирована на развитие, но оттеснена с лидирующих позиций. Можно ли выявить факторы, которые актуализируют реформистскую природу власти или выведут на ведущие позиции элиту развития? Каковы перспективы России в этом отношении?

 **К.Г. Холодковский:** Вопрос этот прогностический; мы не можем точно знать, как все произойдет и произойдет ли вообще. Если пофантазировать, можно сказать, что для реализации этого сценария необходим целый ряд условий. Первое: такое изменение объективной ситуации, которое заставит власть искать какие-то новые методы взамен тех, что уже не срабатывают. Второе условие – на этой почве возникнут раскол и внутренняя борьба «наверху»,

причем «элита развития» и часть господствующего класса, озабоченная собственным выживанием, должны будут опереться на какие-то социальные силы. Наверное, в первую очередь на активное меньшинство, потому что на пассивное большинство в такой ситуации еще никому опереться не удавалось. Будет так или нет, очень сложно сказать. Возможен и тот вариант событий, о котором здесь уже говорилось, – выдвижение на первый план погромных качеств толпы.

**И.И. Глебова:** Вопрос был задан не только Кириллу Георгиевичу Холодковскому, но и Юрию Сергеевичу Пивоварову. Поэтому было бы интересно послушать и Ваш ответ.



**Ю.С. Пивоваров:** Действительно, это, так сказать, прогностический вопрос. Его можно свести к другому: способна наша культура меняться или нет? Преобразовалась ли наша культура за последние сто лет? Да, совершенно: стала урбанистической – и все изменилось. Впервые в истории основная масса людей живет не в природном ритме, а в условиях городской цивилизации, предполагающей всеобщую образованность и пр. Здесь присутствует профессор В.П. Булдаков, описавший в своей «Красной смуте» революцию в деревенской стране. И когда мы обсуждали наши перспективы, я подумал: если бы ему пришлось описать революцию в урбанистической России, походила бы она на Красную смуту? Возможен ли ужас деревенской революции в городской России? Конечно, за сто лет все абсолютно изменилось. И не следует недооценивать того объема демократии и прав, которые мы получили за последние годы. Тем не менее повторение этого ужаса возможно. Чтобы все произошло по-другому, должен измениться человек. А он почему-то не меняется или меняется, но не кардинально.

К вопросу о демократии. По данным опроса Левада-центра 12 декабря 2005 г., 55% населения уверены в том, что глава государства и суверенитет – это одно и то же. Большинство граждан считает также, что Конституция – это плод труда лично президента. Совершенно сказочные, мифологические представления у людей по поводу власти. Другая сторона проблемы – сама власть: и реформы, и репрессии она проводит исключительно для укрепления самой себя. Крепостное право было отменено против воли дворян, которые бесконечно плакали о своих крестьянах. Царь сказал – освобождайте, и силой бюрократии освободили. Александр II сделал это, потому что понимал: в противном случае произойдет взрыв. Конституция 1906 г. была принята, когда стало очевидно, что только репрессиями революцию не подавить. И линия С.Ю. Витте победила не потому, что он хотел ограничения самодержавия (он был монархист), а потому, что понял – взорвет.

Проблема нашей власти – не в том, что в ней нет реформистской силы. Когда надо, она станет реформистской, когда надо – репрессивной, чтобы самосохраниться. И только когда общество изменится так, что власть будет его следствием (а не наоборот), тогда и она переменится. Однако парадоксальным образом российское общество не хочет меняться.

Я это утверждаю не только как исследователь, но и как администратор, который одиннадцать лет руководит институтом: люди не хотят самоуправляться, быть свободными гражданами в свободной стране. Как бы ты их к этому ни понуждал, – не хотят. Они готовы играть роль подданных. Причем, если не будешь их к тому понуждать, скажут: значит ты – слабый администратор. Это была проблема М.С. Горбачева и многих других: слабак, раз даешь свободу, а не бьешь по зубам.

**И.И. Глебова:** Есть еще вопросы, коллеги?



**А.Н. Аринин:** У меня вопрос к Андрею Николаевичу Медушевскому: охарактеризуйте подробнее

- явление конституционного параллелизма в России.



**А.Н. Медушевский:** Параконституционализм распространен во многих политических режимах современного мира – в том числе и в России. Это явление в известной мере отражает трудности соотнесения нормы и реальности трансформирующихся обществ.

Явление конституционного параллелизма было теоретически осмыслено в немецкой правовой литературе при анализе крушения Веймарской республики. В нем отразилось постепенное расхождение между текстом действующей Конституции (Веймарская конституция 1918 г. была

одной из лучших для своего времени) и политическим процессом в расколотом обществе. Трансформация политического режима в направлении авторитаризма шла постепенно, причем без отмены Конституции: путем внесения поправок в нее, развития указного права, а главное – выведением из сферы конституционного регулирования значительных социальных областей и образованием внеконституционных институтов.

Не буду останавливаться на специфически юридических аспектах проблемы, но подчеркну: эта технология представляет собой фактическую переоценку конституционных норм, их селекцию с позиций политической реальности. Как и всякая технология, она является ценностно нейтральной и может использоваться для достижения прямо противоположных целей – как демократизации режима (например, трансформации политической системы франкизма в направлении парламентской монархии), так и усиления его авторитарных тенденций (например, в ряде государств постсоветского региона и во многих развивающихся странах). В последнем случае ее проявлением становится такое «согласование» конституции с реальностью, которое существенно меняет содержательное наполнение основных норм без их формального текстуального изменения: развитие правового регулирования федеративных отношений в направлении централизации; ограничение механизма разделения властей путем введения неконституционных институтов, которые наделяются по существу конституционными функциями; ограничение независимости судебной власти и расширение сферы административного усмотрения, а также делегированных полномочий администрации; изменения избирательной системы, направленные на предоставление преимуществ одной партии, которая доминирует в парламенте, создание особого статуса для ее политического лидера.

Очевидно, что Россия не застрахована от такого процесса. Жесткость ельцинской конституции не стала препятствием для проведения в последнее десятилетие существенных корректировок политической системы. Они касались ряда значимых направлений конституционного регулирования: федерализм (формирование федеральных округов и введение института полномочных представителей); отмена выборности губернаторов (мера, оспаривавшаяся как отступление от федерализма и приведшая к пересмотру Конституционным судом своей предшествующей правовой позиции); парламентаризм (изменения системы выборов в Государственную думу и трехкратные изменения порядка формирования Совета Федерации); создание новых политических институтов (Общественная палата и Государственный совет); принятие нового законодательства о политических партиях (результатом стало их сокращение от почти 200 в 90-е годы до семи в настоящее время); введение нового порядка регистрации и отчетности НПО, приведшее к их значительному сокращению; неоднозначные преобразования судебной системы, ограничившие, по мнению критиков, степень независимости судей; регулирование режима функционирования СМИ и др.

Все эти изменения, существенно ограничившие масштаб либеральной интерпретации Конституции, формально выступали как ее прагматическая корректировка и были осуществлены без изменения Конституции или, во всяком случае, были признаны Конституционным судом не противоречащими Основному закону. Критики, напротив, оспаривали их конституционность и указывали на формирование параллельной политико-правовой реальности. Таким образом, полагали они, возможен переход к модели имперского президентства, где все рычаги власти сосредоточиваются в руках узкой правящей группы и даже одного лица.

Дополнительные аргументы в споре связаны с темой глобального экономического кризиса. Констатируя «кризис правового государства и кризис доверия», В.Д. Зорькин, например, счел необходимым выступить в защиту «элементов авторитаризма, присутствующих в управлении страной» (Конституционная симфония // Коммерсант. 2009. 9 апр.). Сославшись на ситуацию Веймарской республики, он фактически привел в защиту своей позиции аргументы К. Шмидта о необходимости выбора между хаосом и политическим порядком. Однако та «великая симфония» в отношениях общества и государства, к которой он призывал, может привести к реставрации прежних порядков, отвергнутых в ходе конституционной революции. Тогда конституционный цикл завершится установлением авторитарного режима. Опыт предшествующих мировых кризисов и связанных с ними крушений парламентаризма в Европе и России заставляет настороженно отнестись к таким рекомендациям. Кризисы часто становились оправданием политических решений, шедших вразрез с развитием правовой системы.

**?** **Пхон Ким**, аспирант (Южная Корея): У меня вопросы к Александру Николаевичу Аринину. Почему Вы так оптимистичны? Вы считаете, что в российской власти все изменилось? Она стала более справедливой? Как Вы знаете, в любом крепком государстве интеллигенция находится в центре власти, но я не видел интеллигенцию у власти в России. И неужели при Путине и Медведеве существуют крепкие отношения между властью и обществом? Считаете ли Вы, что государство укрепляется, особенно в сфере безопасности? И наконец, «скончалась» ли государственная идея? Я не вижу ее сейчас.



**А.Н. Аринин**: Первый вопрос: почему я так оптимистичен? Потому что, с одной стороны, высоко оцениваю пройденный Россией с начала 1990-х годов путь преобразований. А с другой – считаю, что созидательный потенциал российских граждан в значительной мере из-за нарушений закона еще остается не раскрытым. Поэтому Россия имеет достаточно большие резервы для осуществления необходимых преобразований.

За последние 20 лет в России были заложены основы рыночной экономики, правового, демократического государства, среднего класса – главной силы гражданского общества. На такой путь многим странам понадобилось 200, 300, а некоторым и больше лет. Напомню: в Соединенных Штатах Америки граждане стали напрямую выбирать Сенат лишь через 130 лет после первых парламентских выборов. Женщины в США были наделены избирательными правами только в 1918–1919 гг., или более чем через 140 лет после первых выборов. А люди с черным цветом кожи, или, как сейчас принято говорить, афроамериканцы, получили право голоса только во второй половине XX в. (более чем через 190 лет). Таким образом, в процессе формирования правящего класса и контроля над его деятельностью участвовал далеко не весь американский народ. Тем не менее никто не сомневается, что в США все это время была демократия.

Теперь об отношениях российского общества и власти. В начале 1990-х годов благодаря тому, что россияне поддержали курс на реформы, у нас не случилось гражданской войны. Что касается отношений общества и власти в 2000-е годы, то здесь российские граждане, исходя из национальных интересов страны, поддержали курс В. Путина. В настоящее время перед нашей страной стоят новые задачи, которые предстоит решать просвещенной части правящего класса. Просвещенной определенной частью правящего класса называется не потому, что в нее входит интеллигенция, а потому, что она ориентируется на цели модернизации. По всем социологическим опросам, модернизационную политику российские граждане поддерживают.

Наконец, последний вопрос: есть ли в России государственная идея? Да, есть, и она сформулирована в Конституции России: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства».

**!** **И.И. Глебова**: Предлагаю, коллеги, перейти к обсуждению. И пользуясь правом ведущего, сначала дам слово себе. Это реплика на последнее выступление. Была такая профессия в советские времена: навевать сон золотой. Однако трудно быть адвокатом демократических перемен, конституционной, правовой идеи в современной России. При всех случившихся в ней изменениях. Еще во второй половине 90-х стало ясно, что демократический, правовой тренд не стал определяющим для нашей страны. Утверждать обратное можно, – понять реальное положение дел таким образом нельзя. Кстати, о конституционизме: если Конституция не стала нормой социальных отношений (а она не стала такой нормой), – значит россияне не договорились с государством о правилах социальной «игры». Во всяком случае, на правовой, законной, легальной основе. А государство – с гражданами. Не состоялся общественный договор. Кто еще хотел бы высказаться?



**В.П. Булдаков**, ИРИ РАН: Я не готовился специально, поэтому то, что я скажу, будет экспромт. Во-первых, хотелось бы выразить глубокое удовлетворение тем, как сформулирована тема семинара – «Власть и российская политическая культура». Мы ведь ухитряемся, анализируя политическую культуру, говорить только о власти и не соотносить ее с социальной средой. Это такая особенность политической культуры: мы должны оставаться самыми лучшими. Тогда непонятно, почему у самых лучших воспроизводится именно такая власть, со всеми ее периодическими вертикалями и смутами. Мне думается, что, прежде чем рассуждать о власти, стоило бы поговорить о

нас самих: о россиянинах как культурно-историческом типе (или типах, что правильнее), его архетипах, стереотипах и т.д.

Мы ведь считаем себя особенными: остальной мир нам не указ; что немцу – смерть, нам – здорово. Это всем известно. Но в чем она, это особенность? Прежде всего в том, что мы живем не в обществе, а в государстве. Мы убеждены, что принадлежим государству. Государство, как и водка, у нас метафизическая величина. Вот такие странные параллели.


Сегодня в основном говорили о том, что все у нас меняется и все мы стали совсем другими. А вот перед семинаром сидели мы, три известных автора: один занимается Смутным временем, другой – революциями, третий – сталинским террором. И в один голос сказали: да ничего не меняется. Человек один и тот же, просто закинут в разные эпохи.

Что происходило с нами в XX в.? Бывшая крестьянская страна в результате урбанизации переселилась в город и перенесла туда все общинные стереотипы. Говорят, русский человек – коллективист. Но он таким становился только тогда, когда ему противостояли помещик или государство. А без этого поедом ел другого – в этом смысле он, скорее, антиколлективист.

Ведь это государство запихивало его в общину, понимая ее как фискальную организацию. Как рассуждал крестьянин, когда беседовал с помещиком? Земля – Божья, мы – Ваши, и Вы, помещик, – тоже наши, мы связаны. Из таких идей рождаются соответствующие представления о государстве (точнее, о власти, хотя власть и государство у нас, в принципе, неразличимы) как о какой-то метафизической величине. Мы вообще с трудом различаем реальное, воображаемое и символическое – у нас все перемешано.

В заключение несколько слов о водке и об аналогиях. Когда иностранцы спрашивают, что это за напиток – водка, я отвечаю: ваш самогон растет «снизу», а водка «спускается» сверху и разбавляется. И политическая система у нас такая же – сверху спускается при всеобщем одобрении. Бывают, правда, времена, когда начинается какая-то неурядица, революция, смута. Тогда вместо водки появляется самогон в самых различных видах: Южный Урал – это кислушка, Северный Урал – это кумышка, юг России – это кишмишевка и т.д. Вообще же идеал русской водки, если вспомнить Похлебкина, таков: ни цвета, ни запаха, хорошо бы пилась, чтобы все были довольны. И – извините за такие метафоры, но дискуссия провоцирует – такова же идеальная русская власть: без цвета, без запаха – были бы все довольны.

И заканчивая свой экспромт, хочу сказать: пока реальное, воображаемое и символическое не будут разъединены, у нас сохранится традиционная конструкция власти. Она будет принимать самые лучшие решения и законы, но сама же не станет их выполнять. И мы тоже не станем, хотя будем до поры до времени довольны.

 **Н.Ю. Лапина**, ИНИОН РАН: Сегодня неоднократно звучала мысль: человек в России не меняется. Я отстаиваю совершенно другую позицию. На самом деле человек за последние 15–20 лет очень сильно изменился. Возможно, это не столь очевидно из-за действия ряда тенденций, которые затушевывают и подавляют трансформационные процессы. С 1991 г. я занимаюсь российским предпринимательством, поэтому из историка в какой-то мере превратилась в социолога. Могу сказать, что в чрезвычайно сложные 1990-е годы у нас появилось совершенно новое явление – средний и малый бизнес. Он ассоциируется с коррупцией, теневыми сделками, но то был невероятный всплеск человеческой энергии, там действовали очень талантливые, яркие люди. Крах произошел не по их вине: 1998 г. экономически уничтожил первую волну среднего и малого бизнеса, потом укрепившиеся бюрократия и бюрократическая власть полностью ликвидировали это явление. Теперь «наверху» говорят о необходимости его возрождения, что выглядит вполне цинично.

В последние годы я занималась также региональными исследованиями, которые показывают: в 1990-е годы в регионах сложилась политически конкурентная среда, появились сильные правозащитные организации, формировалось гражданское общество. Таким образом, «снизу» прорастали новые общественно-политические явления. Речь идет не о метафизике, а о том, что мне приходилось наблюдать и описывать. В 2000-е годы «вертикаль власти» победила политически конкурентную среду в российских регионах. При этом наши исследования показывают, что сама вертикаль, не опирающаяся на общество, вовсе не так сильна, как кажется из Москвы.



**Ю.С. Пивоваров:** Я сейчас занимаюсь эпохой С.Ю. Витте и могу повторить все, что говорила Наталья Юрьевна Лапина, про 90-е годы XIX столетия. Прекрасное время: развивается малый и средний бизнес, возникли первые партии, скоро появятся профсоюзы, зарождаются основы демократии. Россия – на мощном подъеме. Кстати, и кризис был в 1898 г. А потом пришло государство и руками С.Ю. Витте устроило монополию и особый капитализм. Когда В.И. Ленин писал про империализм как высшую стадию капитализма, он реагировал на происходившее в России. Возникли мощнейшие монополии, бюрократия взяла экономическую власть в свои руки, отняв ее у предпринимателей. Много из того, что мы наблюдали в 1990-е годы, уже было сто лет назад.



**М.В. Ильин,** МГИМО(У) МИД РФ: Мне очень понравилась идея Владимира Прохоровича <Булдакова>: ничего не получится, пока действительное и воображаемое не будут разнесены по своим местам. Оттолкнусь от этой мысли. В начале своего выступления Кирилл Георгиевич Холодковский вспомнил Ю. Андропова (его известную фразу о незнании политическим руководством своего народа) и подчеркнул, что за последние 20 лет мы многое узнали. Здесь, пожалуй, соглашусь: проведена масса эмпирических исследований, многие из нас в них участвовали. Но штука в том, что это маленькие кусочки, мозаика, которую никто не удосужился соединить в целую картину. Поэтому, на мой взгляд, мы мало продвинулись в понимании нашего общества. И дело не только в господствующем недоверии к великим теориям. Как только мы начинаем обсуждать что-то, выходящее за рамки эмпирического материала, – перестаем разделять реальное и воображаемое, подчиняемся идеологическим мотивациям.

Вот, сегодня много замечательных людей высказалось, но ничего так и не прояснено – все говорят про политическую культуру вообще, про Россию вообще, про демократию вообще. Только в рамках этого «вообще» можно утверждать, что демократия у нас принята вербально. Я, например, не могу понять, что это значит – кем принята, какая демократия? Демократий много, они разные, базируются на различных идеях. Кем-то демократия принята вербально, а другими вербально же отвергнута. Как показывают эмпирические мозаичные исследования, ситуация гораздо сложнее.

И сегодня в ходе дискуссии мы постоянно приходили к тому, что все не так просто, находили кучу противоречий и т.д. Но при этом по-прежнему пытаемся сказать, что российский человек не меняется – или меняется, демократия принята – или отвергнута. Здесь мы скатываемся к той ситуации, которую фиксировал Андропов. Приходится признать: ситуация оказалась непреодоленной. Мы повторяем одни и те же клише, разве что немного модифицированные. Меня это очень беспокоит.

Я не разделяю оптимизма Александра Николаевича Аринина в отношении многих вещей, но мне симпатично, что он призывает исходить не из предвзятых оценок, а из позиции непредвзятости: давайте посмотрим, что происходит во власти (какие там страсти, конфликты), и попробуем с этим разобраться, а уже потом перейдем к другому. Если исходить из классического представления о политической культуре как системе ориентаций на политическое действие, то можно уподобить ее языку. И тогда реально мыслима следующая ситуация: в рамках русского языка существуют диалекты, индивидуальные особенности и т.д.

Бывают и такие типичные ситуации, как диглоссия, которой можно найти «аналоги» на уровне политической культуры: у нас всегда были и остаются верхи со своим языком и политическими ориентациями и простой народ. Сейчас появились более сложные, чем прежде, деления – «баре» и «просто-народье». Может быть, следует говорить уже не о диглоссии, а о полиглоссии, но основополагающее социальное расщепление сохраняется. Поэтому, говоря о политической культуре вообще, т.е. игнорируя социальные деления, мы сами себя загоняем в тупиковые ситуации.

Есть такой термин – «двусмысленная эластичность». С его помощью можно объяснить, как реальное, воображаемое и идеальное перетекают у нас одно в другое. Однако существует и другая возможность, продемонстрированная модернизирующейся Европой: жить в условиях антиномии, т.е. признавая наличие двух взаимоисключающих правил, постоянно искать способы их примирения. Нам этого не хватает. Тем не менее и наш человек меняется. Я это вижу по молодежи. Появилась масса людей, которые уже способны мыслить в кантовских определенностях. И, что еще лучше, действовать. Действие опережает мышление, что в данном случае не опасно.


В связи с этим вспоминается высказывание Роберта Даля из книги «Демократия и ее критики»: не надо сравнивать идеальные апельсины с настоящими яблоками. Поймите меня правильно, я не

против обсуждения идеальных апельсинов, т.е. метафизических философских конструкций. Сам любитель таких занятий. Но очень трудно от масштабных, вечных, воспроизводящихся сквозь исторические эпохи конструкций перейти к сиюминутным вопросам.

Мы забываем, что есть еще настоящие яблоки, т.е. совершенно разные представления о демократии и справедливости, различные способы их отстаивания. Люди борются за справедливость, а потом думают о методах борьбы. Это нормально: пока что-то не сделаешь, не приблизишь к себе, не станешь размышлять об этом. Вот, что такое политика? Мне это объяснил в мои юные годы один комсомольский работник: заниматься политикой – значит, решать вопросы. Если они решаются, что-то делается, – цель достигнута.


А политическим сообщество становится тогда, когда решение вопросов перестает зависеть от одного человека, харизматического лидера, от текущей ситуации и появляются институты, к которым постоянно апеллируют. В заключение хотел бы вспомнить У. Черчилля, говорившего: демократия – самая худшая форма правления. Конечно, ведь она демонстрирует, что мы делаем плохо. Чтобы ее улучшить, нам самим нужно исправляться.

! **Н.Ю. Лапина:** Мне кажется, большая теория не может появиться, если неизвестны политические • практики. Сейчас время изучения политической реальности. Момент, чтобы продвигаться дальше в теоретическом отношении, еще не наступил.

 **Б.И. Коваль:** Несколько слов о перспективах политической теории. Я исхожу из самого широкого понимания политической культуры как феномена историко-цивилизационного характера. Такой взгляд требует решительного обновления устоявшихся методов политологического анализа. Сложность не в том, чтобы взять да и отказаться от традиционных приемов (этого, конечно, не стоит делать), важно научиться более свободно и творчески подходить к новой действительности. Примеры смелого новаторского подхода, на мой взгляд, у нас есть. Можно, скажем, вспомнить разработки Г. Сатарова о проблеме социального хаоса, М. Ильина – о политическом времени, Е. Шестопал – о массовом сознании, А. Галкина – об инновациях социального развития, В. Пастухова – о государственности, Ю. Пивоварова – о русской политической культуре, Ю. Васильчука – о «человеческом капитале» и др.

Однако все новации насквозь рациональны, малоэмоциональны и в целом имморальны, т.е. отстранены от экзистенциальных нравственных ценностей. Поэтому я задумался о выработке более эластичных морально-политических характеристик – не политологических, а именно морально-политических. Речь идет фактически о развитии этической политологии. Эта задача, на мой взгляд, сейчас приобретает особую актуальность.

! **Б.С. Орлов, ИНИОН РАН:** Хотелось бы дополнить. При анализе политической культуры одним из • главных факторов, на мой взгляд, является взаимовлияние властей и соответствующей культурно-духовно-интеллектуальной среды. Это взаимовлияние происходит по-разному в различные исторические эпохи и в разных странах. Тем не менее оно постоянно существует. Если оно прекращается, власти вообще утрачивают какую-либо легитимность, превращаются в кучку узурпаторов.

 **И.С. Семенов:** Мне представляется, что мы собрались, чтобы обменяться опытом. Я • предполагала обогатить свои знания на тему: каков сегодня субъект нашего развития; существуют ли возможности для перехода в инновационную парадигму развития или мы останемся в циклической парадигме?

Я, как и Н.Ю. Лапина, в 1990-е годы занималась исследованиями российского бизнеса. И совершенно согласна с тем, что тогда нашел выход большой потенциал энергии, который накопился на низовом уровне. Он сохранился и сейчас. Но вот какой парадокс. Между социально значимой творческой деятельностью, направленной на развитие страны, своего региона, и реальными механизмами использования этого потенциала существует разрыв, и он не преодолевается.

Это один из парадоксов российской политической культуры. Я сошлюсь на вывод исследования, о котором упоминал Кирилл Георгиевич Холодковский: в наиболее развитых странах субъект инноваций вписан в социальную, институциональную, экономическую и политическую

системы, поэтому макросоциальные факторы играют самостоятельную роль во всех трансформационных процессах. В России эта роль, несомненно, слабее; решающим фактором модернизации оказывается индивид, который обладает способностями и волей к инновационной активности.

Тогда главные для нас вопросы: почему не происходит встреча индивида с соответствующими институтами; почему потенциал развития сосредоточивается исключительно на личностном уровне, а государство его игнорирует? Следующий вопрос: как стимулировать инновационное поведение в России, каковы должны быть основные параметры участия государства (не подавляющего, а поддерживающего) и кто является субъектом развития на индивидуальном уровне?

Мне представляется, что именно слабость ресурсов «надындивидуальной» адаптации человека сдерживает потенциал развития. Люди хорошо адаптируются в частной сфере, но структурирование сообществ (даже интеллектуальных), налаживание межгрупповых связей происходят очень вяло. Сошлюсь на опыт учительского сообщества, которое я знаю: оно не создало концепцию школьного воспитания, поэтому государство формулирует и «спускает» свою. Профессиональное сообщество воспримет ее, скорее всего, негативно, и вряд ли общество в целом получит здесь хороший результат.

Необходимо налаживать механизмы обратной связи между государством и самоорганизующимися группами (они есть, хотя слабо организованы). Кроме того, очень важно для России структурирование активности на уровне территорий. Только на этом пути возможно превращение со временем нашей подданнической культуры в гражданскую.

И последнее. Формулируя вопрос об идентичности как ресурсе развития, я затруднялась в ее определении. Национальная? Но понятие нации у нас очень расплывчато. Государственная? Но она предполагает ориентацию только на государство. Определение «гражданская» явно не соответствует реальности. Я предлагаю говорить о национально-государственной идентичности, хотя и это полностью не исчерпывает содержания. В Европе, кстати, активнейшим образом идет дискуссия о проблемах идентичности, необходимой в рамках парадигмы развития. У нас такая дискуссия тоже идет, но на уровне «верхов», государственных программ. Она не стала пока публичной. А это необходимо для становления гражданской идентичности.

**! Ю.С. Пивоваров:** К вопросу об идентичности. В свое время в ИНИОНе работал профессор Н.Н. Разумович, который сказал гениальную вещь: советские люди – это субъективные материалисты. Это удивительно точно: субъективный материализм пронизывает у нас все. Я думаю, что наша идентичность – субъективно-материалистическая.



**В.П. Булдаков:** У меня – короткая реплика по вопросу о том, изменились мы или нет. Конечно, мы меняемся. Проблема в другом. Изменились ли мы по отношению к власти – вот вопрос вопросов в контексте нашей дискуссии. Я думаю, что не изменились, к сожалению.

В дополнение к уже сказанному я бы определил нашу власть как власть-симулянт: она и сама воздвигает потемкинские деревни, и для нас их строит. Мы привыкли и считаем это нормальным. Конечно, пока нам все это не надоест.

Власть двулика. Петр I, например, ассоциируется прежде всего с Медным всадником, образом империи. В связи с этим хочу привести такую историю. Когда Петр был в Англии, он попросил объяснить, что такое килевание. Это наказание: матросов протаскивали под днищем судна. Петр захотел посмотреть, но ему сказали, что так в королевстве уже не наказывают. И тогда московский царь предложил для опыта кого-нибудь из своих. На что ему ответили: вы находитесь в Англии, и те, кого вы привезли, – под защитой английских законов.

Наша власть многолика: она и варвар, и просветитель, и революционер, и консерватор в одном лице. Ее мы терпим, с ней уживаемся – и в этом смысле до сих пор не изменились.



**И.И. Глебова:** Михаил Васильевич Ильин призывал нас уйти от абстракций (перестать болтать?) и встать на здоровую эмпирическую почву. Давайте сделаем это.

Действительно, как стимулируется и реализуется участнический потенциал российского общества? Сегодня много говорили о том, что он есть, – вот только никак не проявится. Для демократического участия, появления политического субъекта должны быть, как минимум, два условия: наличие в обществе солидаристского потенциала и социального доверия. Я приведу данные



Левада-центра, последовательно с конца 1980-х годов проводящего сканирование советско-постсоветского мира<sup>1</sup>. Когда задается вопрос о доверии, 83% наших сограждан говорят: доверять никому нельзя. Меньше всего, кстати, доверяют институтам – и особенно новым, демократическим: две трети общества не верят действующей политической системе. Около 90% граждан считают, что не в состоянии влиять на дела, которые выходят за пределы их ближайшего круга. Кроме того, они не готовы за что-то или кого-то, кроме себя, отвечать и ни на что не рассчитывают.

Эти неполитические ориентации решающим образом влияют на состояние политической культуры. Собственно, они достались нам от советского мира. Но там политическая активность (и ее симуляция) была условием самореализации. В освобожденном от принуждения «сверху» постсоветском социуме не стало общих целей, идей, идеалов – все победили задачи индивидуального обустройства (или «субъективный материализм», как сказал Ю.С. Пивоваров). Здесь политика не нужна, а демократия понимается как социально-экономические свободы.

Кирилл Георгиевич Холодковский говорил об атомизированном индивидуализме. Я, продолжая его мысль, сказала бы о победе в нашем социуме стихийного анархического индивидуализма и даже о явлении «парохиала нового типа» (среднеобразованного и среднеобеспеченного горожанина, молодого и среднего возраста). У нас анархические индивидуалисты явились вместо граждан. Они замкнулись в семейном, дружеском, профессиональном кругу, занялись исключительно своими частными проблемами. Вот ответ на вопрос – куда исчез активный человек 90-х? Сюда, в частную сферу, и ушла его активность. Речь идет о сознательном отчуждении от общественной сферы, от политики и нежелании обсуждать и решать перспективные общественные задачи. Как реакция на повседневную жизнь, бюрократическую агрессию возникают сообщества самозащиты. Еще формируются сетевые (виртуальные) коллективы, и сейчас многие поют им восторженные песни. Но они не выходят за рамки виртуального пространства, «замещенной» активности.

Все это не дает оснований говорить об обществе, т.е. коммуникативной системе, основанной на солидарности, чувстве сопричастности, общих ценностях и интересах. Мы имеем дело со слабоинтегрированной социальной средой, в которой возникают в основном «черные» и «серые» сетевые связи, а также реактивные сообщества самозащиты, распадающиеся по мере решения вызвавшей их появления проблемы.

Ощущение воображаемого национально-государственного единства, – а оно есть и очень сильное – поддерживается коллективными символами: великого прошлого, великодержавия, «особости» народной власти и героического народа, православной духовности. Приверженность им имеет декларативный и декоративный характер, не требует каких-то действий в их поддержку, но возвращает чувство национальной полноценности. За этими символами скрываются советские ценности; нынешняя символическая политика работает на их воспроизводство. Вообще, постсоветский человек (и из массы, и из «элит») в мировоззренческом отношении и в социальной практике недалеко ушел от советского.

Это, кстати, в полной мере относится к «нашей надежде» – молодым. Конечно, они живут в новом мире, где есть свобода и выбор. Это много. Но кроме этого мира и их самих им ничего не интересно. Молодые не просто забывают прошлое, но не нуждаются в его критической проработке. Опыт свободы для них в основном ограничен свободным потребительством. Среди прочего потребляется и «свободный мир»: контакты с западной культурой вовсе не нацелены на «научение» демократии. Запад их учит, как стать более изощренным потребителем. Практицизм гонит молодых во власть, государственные структуры, большой бизнес; они понимают, что «хорошая жизнь» – там. Ограничение политических, гражданских свобод при хорошей жизни их вполне устроит. Об этом говорят социологические исследования.

Если тезисно, т.е. очень общо, характеризовать нашу ситуацию, я выделила бы следующее. Не успев освоить гражданское участие на практике, не дав реально-участнической основы нашей политике, мы бросились в виртуальщину. Сейчас наш человек между собой и обществом помещает технический посредник: компьютер, а чаще – телевизор. Реальные проблемы, социальная жизнь

<sup>1</sup> См.: Адаптация к репрессивному государству: Фоторобот российского обывателя // Новая газета. – М., 2008. – 3 апр.

подменяются виртуальными. Очень удобно – никакой ответственности, активности; весь участнический потенциал перерабатывается, рассеивается в виртуальной среде. Это первое.

Второе. Политики, ученые постоянно предлагают государству повернуться лицом к людям. А оно к ним лицом и обращено, совсем его не скрывает. В этом – своеобразие современной власти: она открыта, откровенна и рассчитывает на понимание своих граждан. Правильно, кстати, делает. В известном исследовании образов власти, выполненном под руководством Е.Б. Шестоपाल, есть сведения о восприятии нашими людьми (бывшего) мэра Москвы Ю.М. Лужкова: шустрый, для людей что-то делает и себя не забывает. Оценка вполне доброжелательная, понимающая: ведь любой, получи он такие возможности, повел бы себя также. Это круговая порука, полное взаимопонимание власти и народонаселения – при их полнейшей отчужденности.

Теперь о том, что касается потенциала развития. Он вырастает из соответствующего опыта. А наш опыт – весь «сзади», как говорил М. Жванецкий, и весь он негативный. Если в 1990–2000-е и появился позитивный, то это опыт потребительский. Наш исторический и актуальный опыт ориентирует на пассивное приспособление к сложившимся условиям существования. Все пытаются их обжить, найти в них лазейки, чтобы обеспечить себе лучшую жизнь. Выходы если и находятся, то на неправых путях.

И последнее. Левада-центр проводил в 2008 г. по заказу фонда «Либеральная миссия» социологическое исследование наших элит. О нем уже говорили Кирилл Георгиевич <Холодковский> и Ирина Станиславовна <Семененко>. Основная масса опрошенных (т.е. около 60–70%) не сомневается, что Россия так или иначе движется в сторону рынка и демократии, но четких представлений об оптимальном характере этого движения у разных групп респондентов нет. Крайне расплывчаты, неопределенны, слабо проработаны и представления о нынешнем состоянии страны.

Так вот, исследователи делают вывод, – на мой взгляд, вполне обоснованный: несмотря на видимую консолидацию вокруг В.В. Путина, в «элитах» нет согласия ни по поводу будущего, предпочтительных политических целей, ни по поводу настоящего. Во власти, в господствующих группах не вызревают перспективные, социально значимые идеи. Значит, они не нужны – там решаются свои задачи. Говорить же об «элите развития» можно только до тех пор, пока она оттеснена от господства. Прорвавшись к власти, периферийные элитные группы быстро забывают об общесоциальных задачах и потребностях. В них побеждает «эгоизм правящего сословия», которому сейчас нет ограничений.

Сложилась парадоксальная ситуация: политические элиты лишены субъектности, политических субъектов нет и в обществе. В этом смысле наша власть и общество подобны – им одинаково не нужны изменения, свободы, труд и самоограничение. На этом подобии и держится социальная стабильность. В ее основе – общее стремление сохранить все так, как есть. Российские власть и общество говорят «нет» переменам, изменению существующего порядка вещей. Причем, вовсе не потому, что все так хорошо: накал недовольства несправедливым, социально неэффективным порядком, как показывают опросы, чрезвычайно высок. Удовлетворены очень немногие. По подсчетам социологов, «сообщество выигравших» от перемен – от 6–8 до 11–12% (реже называют цифры до 15–17%) населения. Все остальные в той или иной мере проиграли – в том смысле, что их «запас прочности», потенциал развития крайне ограничены. Здесь действуют две установки: нам и так неплохо; как бы не было хуже.



**А.Н. Аринин:** Некоторые Ваши выводы, Ирина Игоревна, являются, на мой взгляд, спорными.

Во-первых, не весь опыт развития России негативный. Например, развитие России в 1990–2009-е годы Вы определяете как «пассивное приспособление к сложившимся условиям существования». За этим обобщением нет объективности. Между тем благодаря реформам Россия за это время прошла огромный путь в создании новых экономических, социальных и политических отношений.

Во-вторых, Вы говорите, что «во власти не вызревает перспективных, социально значимых политических идей». Но ведь это не так. В феврале 2008 г. президент страны В. Путин выдвинул стратегию развития России до 2020 г. Ее суть – переход России на инновационный путь развития. В ноябре 2008 г. новый президент страны Д. Медведев в своем первом Послании Федеральному Собранию предложил ряд важных политических инициатив, связанных с совершенствованием

демократии в стране. К настоящему времени многие из выдвинутых идей подкреплены необходимыми законами. Конечно, надо вырабатывать больше новых необходимых стране идей. И здесь надо начинать с себя. А наша наука много ли предложила инноваций для модернизации власти, укрепления общества, формирования эффективной экономики?


В-третьих, Вы говорите, что «политическая элита лишена субъектности, политических субъектов нет и в обществе». Политическая элита является политическим субъектом по определению, иначе она не является таковой. Другой вопрос, что у нас правящий класс делится на две части. Меньшая часть – это просвещенный правящий класс. Именно он отстаивает национальные интересы России и поэтому ориентирован на реформы, развивающие и усиливающие страну. Большая часть правящего класса, увы, не защищает национальные интересы России и не желает преобразований. Очевидно, об этой части правящего класса Вы справедливо говорили. На мой взгляд, если данная часть правящего класса не перестроится и не станет проводником необходимых преобразований, то она неизбежно будет вынуждена уйти с политической сцены.

С одной стороны, Вы, Ирина Игоревна, справедливо замечаете, что «власти и обществу одинаково не нужны изменения», у них «общее стремление сохранить все так, как есть». Поэтому «российские власть и общество говорят «нет» переменам». Но с другой стороны, если ничего не делать, не осуществлять необходимых преобразований, то Россия может потерпеть крушение. Реформы в нашей стране, равно как и в других государствах, являются объективной необходимостью. В основе истории, современного и будущего развития человечества лежит мировой закон – процесс его совершенствования. Вот почему перемены неизбежны.

Современный мировой финансово-экономический кризис – это испытание для правящих элит. На Западе из-за нарушений правил честной игры, жадности и мошенничества элиты загнили и не справились с задачами развития. А в России правящая элита по-настоящему не сложилась, так как не ориентировалась на национальные интересы страны, была безответственной, бесчестной и алчной. Место политической элиты сегодня занимает правящий класс, который в лице своей просвещенной части только начинает ее формировать.

Перед формирующейся российской элитой стоит выбор: либо создать благоприятные условия для модернизации страны и тем самым сохранить себя, свою власть, собственность и финансы; либо быть сметенной с политической сцены новым правящим классом, способным осуществить необходимую модернизацию. Поэтому созидательные перемены в России неизбежны. Вопрос только в том, какой правящий класс будет вести за собой общество в осуществлении необходимых преобразований: нынешний или новый, который придет ему на смену.

**! И.И. Глебова:** Я думаю, Ваш ответ мне в моем ответе не нуждается. Рисовать такие картины – это • отдельный жанр. Он не требует обсуждения.

 **Ю.С. Пивоваров:** Хочу добавить оптимизма, показав, как изменилось наше общество. Помните, 17 октября 1905 г. был царский манифест о свободе? Тут же возникли профсоюзы, политические партии, общественные движения и т.д. 18 лет свободы в современной России ничего не дали – ни профсоюзов, ни партий. В советское время общество изменилось так, что оказалось совершенно неспособным к самоорганизации.

Государство до революции было заинтересовано в людях, в народе. Оно, например, создавало фискальные общины, чтобы дать возможность прокормиться дворянскому классу. Коммунистическое государство нуждалось в солдатах, которые распространяли бы его идеологию «по всему земному шару». Нынешнее государство сбросило с себя все заботы. И хотя в Конституции записано, что у нас социальное государство, это не так. Оно абсолютно асоциально. Мы нашей власти не нужны. Она нуждается в газе, нефти, драгметаллах и группировках людей, которые всем этим занимаются и обслуживают «верхи». Остальное общество «ссловию управляющих» неинтересно. Современные социальные программы – чистая риторика: ничего этого нет, всерьез заниматься ими не хотят.


Мне кажется, что в России на рубеже 1980–1990-х годов произошла революция, про которую когда-то говорили марксисты. Но они не предполагали, что какой-то класс в ходе революции станет собственником. Номенклатура, которая была организующим элементом советской политической

системы, пожертвовала несущими структурами этой системы и стала собственником. Все эти директора заводов и т.п., бывшие только функцией, стали капиталом-функцией. Так что у нас произошла настоящая революция управляющих: они стали индивидуальными собственниками и получили власть. В России опять появился феномен власти-собственности: у кого власть – у того и собственность. Спор В.В. Путина и М.Б. Ходорковского – это спор о том, кто есть кто в российской истории.

Можно много говорить, но одно очевидно: изменения произошли большие. Что же касается оптимизма или пессимизма, то это метафоры. Мы – исследователи и должны анализировать наличную ситуацию. А она складывается очень опасным образом. При резком понижении уровня эффективности служб безопасности и МВД правоохранительные органы вряд ли смогут справиться с беспорядками, о потенциальной возможности которых здесь говорили.

! **А.Н. Аринин:** Спасибо, Юрий Сергеевич. Вы правы, когда говорите, что мы как исследователи • должны анализировать «наличную ситуацию», т.е. существующие реалии. А они таковы: сегодня российское общество сильнее, чем оно было в 1990-е годы, а власть компетентнее, чем когда-либо прежде. В то же время российская власть по-прежнему нарушает закон, остается коррумпированной, а также безответственной и как следствие – неэффективной. В свою очередь, российское общество из-за отсутствия широких слоев среднего класса еще слабо и пока не является надежным гарантом соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Поэтому, чтобы России быть конкурентоспособной в современном мире, власть нуждается в модернизации, а общество в укреплении.

Я считаю, что как исследователи мы должны не только объективно анализировать существующие реалии. Наш долг – выработать новые идеи, которые необходимы для совершенствования этих реалий. Надеюсь, что в докладах и в дискуссии они прозвучали.

 **И.И. Глебова:** Очень диалектично, перспективно и оптимистично. Но это не формат научного исследования, поиска, полемики. В этом отношении мы сегодня, к сожалению, мало продвинулись. А вот российская политическая культура – в том числе благодаря размышлениям, сомнениям и находкам, разговорам (странно трактуемым иногда как научная болтовня) участников нашего семинара – уже не terra incognita политической науки. Ее образ во многом прописан – и именно за последние 20 лет. Это и есть те новые идеи, которые выработала современная российская наука. Наш семинар – я надеюсь – вписан в общий научный ритм, в общую работу критического самопознания. Только опыт такого самопознания может излечить нас от ущербной потребности мерить русскую жизнь меркой шефа жандармов при Николае I генерала Бенкендорфа: «Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более чем великолепно, что же касается ее будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение».

*Материалы семинара подготовлены к публикации  
И.И. Глебовой и Е.Ю. Тесловой*

**РОССИЙСКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ:  
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ  
(Семинар 11 марта 2010 г., ИНИОН РАН)**



**Н.Ю. Лапина**, ИНИОН РАН: Тема моего доклада – российский политический режим: проблемы изучения и интерпретации

В последние годы в России и за рубежом вышло немало работ, посвященных современному российскому политическому режиму<sup>1</sup>. Мне хотелось бы обозначить некоторые подходы к анализу российского политического режима, сложившиеся в научном и экспертном сообществе Франции. Интерес к теме оправдан: ученые наряду с политиками, писателями, журналистами участвуют в формировании образов политического, которые затем транслируются обществу и нередко утверждаются в качестве стереотипов массового сознания. В процессе работы мною были проведены интервью с ведущими французскими специалистами в области изучения России (2007–2009 гг.).

Среди подходов к анализу российского политического режима я бы выделила четыре определяющих, влияние которых испытывают и другие: историко-трансформационный, сравнительный, институциональный и субъектный. Сравнительный подход позволяет понять, насколько российский случай типичен для посткоммунистических стран, а что в нем особенного, сугубо российского. Историко-трансформационный дает представление о месте постсоветского периода в российской истории и его особенностях. Субъектный и институциональный раскрывают специфику функционирования политического режима «через» действующие в нем институты и акторов.

### **Историко-трансформационный подход**

Сторонники историко-трансформационного подхода рассматривают существующий политический режим в континууме многовековой российской истории. «Для русских, – указано в монографии французского историка Ж. Соколоффа “Бедная держава”, – собственная история – это основная система отсчета; для того, чтобы лучше понять, как они мыслят и действуют, нужно заглянуть в их прошлое»<sup>2</sup>.

Центральной темой, которая объединяет исследователей, является традиционализм российской власти. При этом понимается он по-разному. К воспроизводящимся чертам Ж. Соколофф, например, относит: борьбу между открытостью (западничеством) и закрытостью (русофильством); контраст между внешнеполитическими амбициями государства и его материальными возможностями; противоречие между преодолением отсталости (модернизацией) и стремлением к сохранению национальной самобытности. Многие французские авторы обращают внимание на персонифицированность российской власти как ее главную отличительную черту. Есть дискуссионные точки зрения – скажем, об имперской сути современной власти. Для меня очевидно, что сегодня Россия не пытается воссоздать ни советскую, ни Российскую империю. Серьезные

<sup>1</sup> Понятие «политический режим» заимствовано из политической науки. Я опираюсь на определение, предложенное Д. Хигли и Д. Бёртоном: «*Политический режим – это образец (шаблон), в рамках которого принимающая решения правящая власть организуется, осуществляется и передается*» (Higley J., Burton M. *Elite foundations of liberal democracy*. – Lanham: Rowman & Littlefield publ., 2006. – P. 15).

<sup>2</sup> Соколофф Ж. *Бедная держава. История России с 1815 года до наших дней*. – М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2007. – С. 19. Об особом отношении россиян к своей истории пишет и французский историк и литературовед Ж. Нива. В России событие далекого прошлого, считает он, вызывает такую же острую реакцию, как событие современное (Nivat G. *Russie: États de mémoire // Courrier des pays de l'Est*. – P., 2008. – Mai-juin, N 1067. – P. 11).

сомнения вызывает также тезис о единстве власти и народа, хотя она широко популяризируется близкими к власти экспертами.

Важно и то, что из положения о традиционализме российской власти делаются разные выводы. В одном случае речь идет о возвращении современной России в историческое русло – «к тому, что было всегда». В то же время, учитывая произошедшие в два последних десятилетия общественно-политические сдвиги, некоторые авторы говорят о Новом политическом режиме<sup>1</sup> и даже новой революции.

Замечу, что взгляд на российский политический режим во многом определяется отношением к российскому прошлому. В французской общественной науке наша история рассматривается в парадигме деградации/нормализации. В первом случае внимание концентрируется на чуждости России европейской традиции, отсутствии в русской истории демократических черт, рабстве и сервиллизме народа, неспособного действовать свободно и сознательно. Из этого представления формируется образ современности: неготовность россиян к демократии западного типа и неизбежность отката России в прошлое.

В этой логике рассуждает представитель «тоталитарной школы» историк и философ А. Безансон. Для него Россия – это страна отстающего развития, которая на протяжении всей своей истории пыталась разными способами (через религиозное чувство или построение империи) «компенсировать собственную неполноценность». Тот факт, что в постсоветской России не была осуществлена «декоммунизация», заставляет его опасаться за будущее страны. Главный «инструмент» интерпретации России для Безансона – исторический детерминизм. Апеллируя к нему, автор отказывает стране в перспективе европеизации и создания демократического государства.

Сторонники тезиса о нормализации России в духе философов эпохи Просвещения убеждены, что Россия – это европейская страна, только менее развитая, а ее будущее связано с преодолением отсталости и дальнейшей европеизацией. Оценивая постсоветский период, они отмечают, что России пришлось начинать строительство новых экономических и политических институтов с нуля, но она многое успела сделать. За прошедшие годы улучшились материальные условия жизни россиян; сформировалась и действует рыночная экономика; в России появились свободы, которых прежде не существовало. За годы, прошедшие после распада СССР, «Россия стала частью цивилизованного европейского мира, – пишет Э. Каррер д'Анкосс, – хотя многие из начатых в 1990-е годы преобразований остаются незавершенными, как остается незавершенной и сама Россия»<sup>2</sup>. В этой логике современный политический режим видится как важный этап в строительстве нового государства и укреплении позиций России на международной арене.

Формально не включаясь в дискуссию о модернизации традиционных обществ, французские обществоведы предлагают свое видение проблемы наследия. Сторонники теории «зависимости от пройденного пути» воспринимают прошлое как тормоз на пути общественного развития: «плохое» историческое наследие (державно-консервативная традиция и неудачи демократических преобразований) не дает шансов на успех в будущем. Им противостоят исследователи, предлагающие документированную картину истории России как части истории Европы. Они в целом дают позитивный ответ на вопрос о модернизационных перспективах страны, вместе с тем отмечая, что для дальнейшего движения вперед она нуждается в демократии и эффективном государстве (А. Фромен-Мерис). В этом контексте историческое наследие приобретает особый смысл и рассматривается как ресурс, стимулирующий преобразования (Ж. Радвани).

Следует учитывать, что история служит также легитимирующим или, напротив, делигитимирующим основанием современного политического режима. В литературе широко используются исторические параллели. Обращаясь к современности, авторы нередко оперируют понятиями Термидора, Реставрации, бонапартистского режима. Несмотря на внешнюю эффективность исторических аналогий, следует признать, что применительно к современному российскому политическому режиму тезис о реставрации советской системы неуместен. И не только потому, что в России в конце 1980 – начале 1990-х годов был демонтирован советский режим и заложены основы нового общественно-политического устройства. На сегодняшний день российская власть не обладает

<sup>1</sup> Sokoloff G. *Métamorphose de la Russie, 1984–2004*. – P.: Fayard, 2003.

<sup>2</sup> Carrère d'Encausse E. *La Russie inachevée*. – P.: Fayard, 2000. – P. 231.

теми ресурсами, которыми она располагала в прошлом. У нее нет идеологии, которая пропитывала все сферы общественно-политической жизни СССР. Нет возможности восстановить основу советского строя – мобилизационный режим, как нет сил воссоздать советскую империю. Но самое главное, россияне не хотят возвращаться в прошлое. Опрос общественного мнения, проведенный Левада-центром в декабре 2009 г., показал, что лишь 15% опрошенных выступают за реставрацию советского строя. Скорее, можно согласиться с Ж. Соколоффом, который предлагает применительно к 2000-м годам использовать формулу «консервативного поворота».

Когда мы говорим о России, такое внимание к истории оправдано и целесообразно. Историко-трансформационный подход позволяет выстроить исторический континуум, выявляет, с одной стороны, устойчивые тенденции, с другой – исторические разрывы в развитии государства и общества. Однако у него есть свои ограничения: руководствуясь только этим подходом, им вряд ли можно понять, в чем состоит специфика режима, современных политических институтов и акторов.

В восприятии современности через призму исторического опыта действует феномен исторического запаздывания: оценка политической реальности заимствуется из представлений о прошлом. Это явление описано и обосновано французским историком С. Кёре применительно к межвоенному периоду XX в., когда многие французские исследователи воспринимали сталинизм через призму традиционной российской власти<sup>1</sup>. Нечто подобное происходит и сегодня, когда современный политический режим оценивается через советское прошлое.

Почему историко-трансформационный подход пользуется популярностью? Тому есть несколько объяснений. Во-первых, обращаясь к истории, исследователи надеются получить ответ, почему в России не осуществился демократический сценарий, которого ожидали в 1990-е годы. Во-вторых, отсылка к прошлому в определенной степени облегчает задачу исследователя, который объясняет политическую реальность через призму хорошо известных исторических событий. Хотя, следует признать, что за этим приёмом может скрываться и обыденная интеллектуальная леность. В-третьих, историко-трансформационный подход компенсирует дефицит информации о российской власти. «Закрытая» элита порождает домыслы о самой себе, которые распространяются, стимулируя возрождение, казалось бы, оставшейся в прошлом кремлинологии – ущербного и порой анекдотического взгляда на политическую жизнь.

### Сравнительный анализ

Долгое время исследование России на Западе оставалось в рамках узкой дисциплины – россиеведения. Культурологический подход к изучению России, базирующийся на представлениях об уникальности и непостижимости ее сущности (не будем забывать, что мифы о «русской душе» и «русском мистицизме» созданы французами), затруднял использование компаративных методов. Революция 1917 г. и создание первого в мире социалистического государства закрепили представление о России – теперь уже советской – как уникальной стране. Первая попытка исследовать советский режим в рамках компаративной методологии была предпринята представителями «тоталитарной школы» (во Франции – Р. Арон, Д. Кола, А. Безансон).

Крушение Берлинской стены и распад СССР стимулировали появление новой дисциплины, сфокусировавшей внимание на переходе от авторитарного режима к демократическому. В ее основу был положен заимствованный из политологии и социологии метод сравнительного анализа. В исследованиях постсоветского мира наступившая эпоха рассматривалась как новое историческое время, единое для всех посткоммунистических стран<sup>2</sup>. В США, ФРГ и англоязычных странах в 1990-е годы популярной стала транзитология.

До тех пор пока постсоветские страны развивались в одном направлении, политологи считали уместным сопоставлять их опыт. Со временем их траектории разошлись: восточноевропейские страны демократизировали свои политические и экономические институты, вступили в Европейский союз, а в России и ряде других стран бывшего СССР власть и экономика оставались слитыми, правовое государство отсутствовало, демократические институты были слабыми. К началу 2000-х годов западная политология отказалась от транзитологической парадигмы. Однако в науке

<sup>1</sup> Coeuré S. La grande leure à l'Est: Les français et l'Union soviétique, 1917–1939. – P.: Seuil, 1999.

<sup>2</sup> Colas D. Introduction générale: l'Europe post-communiste // L'Europe post-communiste / Sous la dir. de D. Colas. – P.: PUF, 2002. – P.1–9.

сохранилось введенное транзитологами понятие демократии с прилагательными, используемое для описания недостаточной демократизации в бывших странах коммунистического лагеря. Для режимов, которые не являются ни демократическими, ни авторитарными, политологи предложили ряд определений. Среди них: «дефектная демократия» (В. Меркель), «гибридный режим» (Т.Л. Карл), «делегативная демократия» (Г. О'Доннелл).

В отличие от англосаксонских стран и России, во Франции транзитология широкого распространения не получила. Возможно, сказалась идущая от А. де Токвиля традиция изучения национальной историко-культурной специфики или французским исследователям просто не хотелось использовать чужой научный инструментарий. Однако сравнительная методология во французской общественной науке используется достаточно широко.

Сравнительный метод в социологии и политике, по мнению французских исследователей М. Догана и Д. Пеласси, «расширяет сферу наблюдения», «стремится определить социальные закономерности и выявить основные причины наблюдаемых социальных явлений». Но главное – он способствует преодолению «этноцентризма» и излишнего увлечения культурными особенностями<sup>1</sup>. С начала 1990-х годов во Франции сформировалось течение, в рамках которого признана уникальность постсоветских стран, а в качестве метода используется сравнительный анализ. Его представители анализируют постсоветскую экономику (Ж. Вильд), траектории эволюции постсоветской элиты (Ж. Минк и Ж.-Ш. Шурек); институты и правовые системы (М. Лесаж, А. Газье, С. Миласик, Ф. Кларе).

Сторонники уникальности постсоветского развития выдвигают два принципиальных тезиса: (1) о недопустимости использования западнцентричного подхода при анализе общественно-политических изменений в странах Восточной и Центральной Европы, включая Россию; (2) об относительности признаваемых универсальными ценностей (правовое государство, права человека и гражданина и т.д.) при анализе постсоветских обществ. Исследователи, принадлежащие этому направлению, настаивают: универсалистский подход, связанный с утверждением в 1980-е годы идей либерализма, игнорирует культурные традиции восточноевропейских и центральноевропейских стран, их историческую специфику и пытается выстроить их по единой модели<sup>2</sup>. Формальное сравнение, считают они, ошибочно, поскольку истинные сходства и различия можно выявить лишь в контексте сравнения национальных культур. Ими обосновывается идея понимающего сравнения, которое предполагает тонкое прочтение различий, существующих между разными системами, институтами, политическими режимами.

В противовес транзитологической парадигме, неизбежно приводившей исследователей к тривиальному выводу об отставании России, названный подход открывает возможности проведения сравнительного анализа национальных практик, поиска в них структурных сходств и различий. Он дает возможность выйти за пределы собственного мировосприятия; объяснение в нем преобладает над описанием. Метод сравнительного анализа в основном используется политологами, социологами, правоведами и экономистами. Историческая наука до недавнего времени преимущественно оставалась в рамках страноведения. Принимая Россию как часть европейского пространства, историки (например, Каррер д'Анкокс) считают неуместным ее сравнение с европейскими странами. Россию, по их мнению, следует «проверять» ее собственной историей.

### Институциональный подход

При использовании институционального подхода политический режим оценивается с точки зрения утвердившихся в стране институтов и практик. Спектр тем, рассматриваемых институционалистами, широк. Выделю лишь некоторые: формирование постсоветского государства после развала СССР; переход от правления Б. Ельцина к эпохе В. Путина; региональные политические режимы; качество институтов; формальные и неформальные отношения.

В аналитике сложились контрастные оценки государственного строительства в начале 1990-х. По мнению М. Лесажа, в 1991–1993 гг. Россия, как и другие постсоветские страны, приступила к

<sup>1</sup> Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология. – М.: Соц.-полит. журнал, 1994. – С. 11.

<sup>2</sup> Milacic S. Sur quelques ambiguïtés du néocomparatisme // In: Les systèmes post-communistes: Approches comparatives / Sous la dir. de Milacic S., Claret Ph. – 2006. – P. 9–23.



«изобретению собственного государства»<sup>1</sup>. Их оппоненты убеждены, что в результате расстрела парламента и принятия новой Конституции (1993 г.) надежды на формирование современных государственных институтов в России рухнули. А с установлением президентской формы правления в Российской Федерации совершился поворот в сторону традиционного государства.

Тем не менее приход к власти В. Путина активизировал надежды на укрепление государственности. Исследователи полагали, что провозглашенное властью построение «сильного государства» приведет к появлению эффективных институтов, их деятельность станет прозрачной, сложатся универсальные правила игры, отношения центра и регионов, бизнеса и власти окажутся более институционализированными, что будет способствовать развитию гражданского общества и ускорит процесс отделения экономики от политики.

Однако по прошествии времени мнения исследователей относительно произошедших в России изменений резко разошлись. Некоторые из них акцентируют внимание на позитивной направленности перемен, организационных качествах российской власти, ее способности стабилизировать ситуацию в стране. Их основной тезис: в 1990-е годы в России царил «хаос», а в 2000-е была предпринята попытка упорядочить систему власти. Приведу мнение Э. Каррер д'Анкокс: «Когда Путин пришел к власти, перед ним стояла задача построить новое государство. Думаю, именно в этом качестве он хотел бы войти в историю»<sup>2</sup>.

Признавая, что современное Российское государство не стало пока правовым, сторонники этой точки зрения обращают внимание на принципиальные изменения в общественно-политической жизни: Россия впервые в своей истории согласилась сотрудничать с западными странами в области институционального строительства, а став членом Совета Европы, признала юрисдикцию Европейского суда; в стране стали проводиться президентские выборы, в ходе которых граждане могут сказать «нет» кандидату от власти; правление президента при всей его популярности не является пожизненным и ограничено двумя сроками<sup>3</sup>. В. Путин начал модернизацию страны: в годы его правления правовые отношения в экономической сфере укрепились, была реформирована налоговая система, объемы неформальной экономики сократились, были предприняты социальные реформы<sup>4</sup>. Французский экономист Ж. Сапир уверен, что после развала 1990-х «в России формируется целостная модель развития» и проводится «продуманная политика глобальной модернизации». Добавлю, что эта точка зрения была популярна в определенном сегменте западной аналитики, пока финансово-экономический кризис не продемонстрировал слабость российской экономики. Аргументом в пользу позитивной динамики можно считать и тезис об укреплении международной роли России и ее статуса в качестве «самостоятельного центра силы».

Оппоненты «оптимистов» анализируют эпоху В. Путина в рамках схемы «реформа – контрреформа». Этот подход предполагает, что после революционных преобразований 1990-х годов в России наступил откат. Кто-то воспринимает откат как синоним отказа от демократии и ставки на авторитарные формы правления. В этом случае основное внимание уделяется открытости/закрытости политического режима, наличию/отсутствию демократических свобод.

Проблема, занимающая особое место в аналитике, – состояние и функционирование российских институтов. Это не случайно: именно от качества институтов зависит качество управления страной и отдельными сферами общественной жизни. Некоррупцированная администрация, честные суды, прозрачная процедура принятия решений – обязательные составляющие современного цивилизованного государства. Парадокс российского политического режима французские исследователи видят в сосуществовании «вертикали власти» со слабыми институтами.

Анализируя роль Российского государства в имперский, советский и постсоветский периоды и его отношения с обществом, М. Мандрас приходит к выводу о его исторической неэффективности. В современной России, по мнению автора, возродилось бюрократическое советское государство,

<sup>1</sup> Lesage M. De l'autorité de l'Etat en Russie // In: La réinvention de l'Etat: Démocratie politique et ordre juridique en Europe centrale et orientale / Sous la dir. de Milacic S. – Bruxelles: Bruylant, 2003. – P. 351.

<sup>2</sup> Каррер д'Анкокс Э. Чтобы быть влиятельной в мире, России нужно быть внутренне сильной (Интервью) // Два президентских срока В.В. Путина: Динамика перемен / Под ред. Н.Ю. Лапиной. – М., 2008. – 344 с.

<sup>3</sup> Lesage M. De l'autorité de l'Etat en Russie // In: La réinvention de l'Etat: Démocratie politique et ordre juridique en Europe centrale et orientale / Sous la dir. de Milacic S. – Bruxelles: Bruylant, 2003. – P. 351.

<sup>4</sup> Favarel-Garrigues G., Rousselet K. La société russe en quête d'ordre. Avec Vladimir Poutine ? – P.: Autrement, 2004.

приспособившееся к рыночным отношениям<sup>1</sup>. Главную причину этой эволюции Мандрас видит в отсутствии в стране демократии, что «фатально ведет к изменению сути политических институтов», а также в неспособности россиян быть ответственными гражданами и оказывать влияние на политический выбор. Конечно, многие из высказанных соображений, хотя и неоригинальны, но оправданны. Однако автор явно игнорирует трудности перехода от авторитарного советского общества к обществу постсоветскому. Концентрируя внимание на власти, он оставляет в стороне крупномасштабные сдвиги, произошедшие за последние два десятилетия в российском обществе: формирование гражданского общества (пусть пока и слабого), нарожение (в связи с монетизацией льгот 2005 г.) «городских движений» социального протеста, получивших распространение с началом экономического кризиса.

Непримиримый взгляд на современное Российское государство можно встретить и в других работах. Кто-то анализирует его через призму войны в Чечне (военноцентричный подход)<sup>2</sup>. Основываясь на одиозных случаях дедовщины в армии и убийств на расовой и этнической почве, такие авторы делают выводы о банализации насилия в современной России, неспособности или нежелании государства вести серьезную борьбу с преступностью<sup>3</sup>.

При анализе государственных институтов внимание уделяется неформальным отношениям и политико-экономическим альянсам, возникшим в 1990-е годы и влиятельным по сей день. Здесь хотелось бы упомянуть работу французского социолога Ж. Фавареля-Гаррига, которому удалось провести социологическое исследование в России (крайне редкий случай)<sup>4</sup>. Были изучены «незаконные экономические практики», получившие распространение в СССР и современной России, а также причины, по которым общество проявляет высокую толерантность по отношению к преступлениям этого типа. Автор отказывается рассматривать современную Россию как «полицейское государство». Более важным ему представляется другое: терпимость к незаконным экономическим практикам является следствием того, что в них включены практически все члены общества – от высокопоставленных государственных служащих до рядовых граждан.

### **Субъектный подход**

Этот подход позволяет исследователям вскрыть специфику политического режима «через» акторов, которые играют системообразующую роль в его создании, поддержании и воспроизводстве. Политологи и социологи отождествляют российский политический режим с типом доминирования и формирования элитных групп. Исследователи признают, что неноменклатурного пути формирования постсоветской элиты в России быть не могло, поскольку в недрах советского строя альтернативной элиты не существовало<sup>5</sup>. В ряде работ позднесоветская и постсоветская элиты фактически уравниваются. Думаю, что прямые исторические параллели ведут к упрощению. Современная российская элита не является копией номенклатуры хотя бы потому, что активно включена в экономическую деятельность (это касается и государственных служащих); в ее состав входят представители бизнеса; она свободна от идеологического давления, а членство в ЕР является формальностью (гораздо больший смысл для ее представителей имеет включенность в глобальную экономику).

Исследователей интересуют структура и состав элитных групп. В 1990-е годы объектом анализа были представители крупного капитала, получившие доступ к собственности благодаря близости к власти. Тогда же в научной литературе стал распространенным тезис о «приватизации государства» олигархами. В современной России наиболее влиятельным слоем признается административно-бюрократическая элита. Именно этот элитный сегмент, по признанию многих аналитиков, стал главной опорой современного политического режима. Однако численный рост

<sup>1</sup> Mendras M. *Russie : L'envers du pouvoir*. – P.: Odile Jacob, 2008.

<sup>2</sup> Obrecht T. *Russie, la loi du pouvoir: Enquête sur une parodie démocratique*. – P.: Autrement, 2006; Le Huérou A., Merlin A., Regamay A., Serrano S. *Tchéchénie: Une affaire intérieure?* – P.: CERI/Autrement, 2005.

<sup>3</sup> Daucé F., Walter G. *Russie 2006: Entre dérive politique et succès économiques* // *Courrier des pays de l'Est*. – P., 2007. – N 1059. – P. 6–22.

<sup>4</sup> Favarel-Garrigues G. *La police des moeurs économiques: de l'URSS à la Russie*. – P.: CNRS éd., 2007.

<sup>5</sup> Berelovitch A. *Les élites politiques en Russie: Changement et continuité* // *Ex-URSS: Les Etats en divorce / Sous la dir. de Berton-Hogge R., Crosnier M.-A.* – P.: Documentation française, 1993. – P. 77–89.

государственной бюрократии не привел к появлению эффективного государства, а административно-бюрократическая элита преуспевает главным образом в отстаивании личных и корпоративных интересов.

Большое внимание уделяется «силовому компоненту» современной российской элиты. Ссылаясь на данные российского социолога О. Крыштановской, французские исследователи пишут о «милитократии» и особом месте, которое этот сегмент занимает в современной российской элите. «Никогда прежде власть спецслужб в России не была столь велика»<sup>1</sup>, – пишет М. Жего. Доминирование «милитократии» приводит к тому, что российская политика становится более агрессивной. «Люди в погонах», считают французские авторы, сыграли ведущую роль в развязывании войны в Чечне, «деле ЮКОСа», с их подачи ведется поиск внутренних и внешних врагов, в стране развивается «шпиономания», они ответственны за войну с Грузией и напряженность в отношениях с Украиной<sup>2</sup>.

«Идеологическому» подходу в изучении элиты «противостоит» функциональный подход. Здесь представляет интерес тезис российского исследователя М. Афанасьева об элите развития. К ней отнесены те группы элитного слоя, которые пока не достигли высот политической власти (в иерархическом отношении они находятся ниже господствующего класса), но обладают высоким модернизационным потенциалом и могут помочь российскому обществу «выздоревть». Однако сама российская действительность демонстрирует гипотетичность этого тезиса.

### **Итоги**

Во Франции сторонникам идеи нормализации России противостоят те, кто указывает на ее деградацию. Традиционно французская русистика (а позже советология) большое внимание уделяли российской исторической специфике и культурной традиции. Эти предпочтения сохраняются в работах специалистов по Восточной Европе и патриархов французского россиеведения.

Во французском научном сообществе сильны поколенческие различия. У многих представителей молодого поколения русистов отсутствует эмоциональная привязанность к России, зато очевидно признание универсализма демократических ценностей. Для них Россия – такая же страна, как и другие, лишённая национальной исключительности и специфики. Такой подход позволяет «вписать» Россию в историю Европы, но одновременно остро ставит вопрос: почему в своем политическом развитии она отстает от других европейских стран? «Наше поколение, – размышляет французский политолог, одна из участниц проведенных мной интервью, – выросло в тот момент, когда левые находились у власти. Мы были под большим впечатлением от падения Берлинской стены. Это был момент больших ожиданий, связанных с развитием демократии в Европе» (сентябрь 2008 г.). Оцениваемая по шкале универсальных демократических ценностей, Россия обречена оставаться аутсайдером. Именно так она сегодня и понимается большинством представителей французского интеллектуального и экспертного сообщества.

Взгляд на современную Россию, доминирующий во Франции, можно определить формулой «Кюстин возвращается». «Мне кажется, – говорит в интервью социолог Ж. Фаварель-Гарриг, – что мы остаемся в контексте “холодной войны”. Во Франции сложился негативный консенсус в отношении России» (сентябрь 2008 г.). Для французских аналитиков, как представляется, характерен политикоцентричный взгляд на российскую жизнь: основное внимание уделяется политическим событиям, общество отождествляется с политическим режимом. При таком подходе вывод однозначен: раз плох политический режим, безнадежны и Россия, и российское общество. Из книг и статей критическое отношение к России перемещается на полосы газет, формируя негативные стереотипы.

Вместе с тем было бы неверно оценки французских исследователей и обозревателей сводить исключительно к негативу. Во Франции есть специалисты, внимательно изучающие российское общество<sup>3</sup>, региональные различия<sup>1</sup>, сдвиги в социальной структуре<sup>2</sup>. Наряду с социологами и политологами появилось молодое поколение историков. Пока они не оформились в самостоятельное

<sup>1</sup> Jégo M. Les hommes du président // Politique internationale. – P., 2007. – N 115. – P. 29.

<sup>2</sup> Nougayrède N. Les oligarques et le pouvoir: La redistribution des cartes // Pouvoirs. – P., 2005. – N 112. – P. 35–48; Obrecht T. Russie, la loi du pouvoir: Enquête sur une parodie démocratique. – P.: Autrement, 2006; Mendras M. Russie: L'envers du pouvoir. – P.: Odile Jacob, 2008.

течение, но их исследования отличают высокопрофессиональная работа с источниками, непредвзятость, а главное – сохранение научной дистанции в отношении описываемых событий (С. Кёре, Р. Мази, С. Дюллэн).

Нередко позиции французских и российских исследователей самым парадоксальным образом сближаются. Позитивный взгляд на нашу страну во Франции, как уже отмечалось, отличает патриархов руссиеведения, а также исследователей националистического толка, среди которых сильны антиамериканские настроения. Они унаследовали идею: Россия (как прежде СССР) – это противовес США.

Общественная наука и во Франции, и в России сегодня вплотную подошла к решению ряда важных для понимания сути политического режима проблем. Укажу на некоторые из них, важные с методологической точки зрения.

*Первое.* Возникает понимание того, что исследование политического режима должно быть междисциплинарным. Функционирование политических институтов, выбор политических акторов напрямую связаны с имеющимися в их распоряжении экономическими, социальными, административными ресурсами. Очевидно, что построение В. Путиным политического режима, выстраивание властной вертикали, проведение политики централизации стали возможны в благоприятной экономической ситуации. Финансово-экономический кризис не разрушил существующего политического режима, но заставил элиты адаптироваться к новым условиям. Их главной задачей на новом этапе стало поддержание экономической и социальной стабильности.

*Второе.* До сих пор в исследованиях политического режима преобладал элитистский подход. Это оправдано: там, где отсутствует гражданское общество, элиты становятся главными субъектами общественно-политических преобразований. Однако подход имеет свои ограничения, поскольку не принимает во внимание общественные настроения, готовность/неготовность общества поддерживать элиту и ее представителей. Нередко выводы исследований этого направления поверхностны: они полагают, что политический режим навязан обществу силой или, как пишет М. Мандрас, держится на страхе. Концентрация внимания на элите может породить иллюзию, что смена отдельных представителей правящего класса изменит суть режима. Чтобы понять особенности политического режима, следует обратиться к изучению общества.

*Третье.* Исследования, посвященные российскому политическому режиму, как правило, носят «москвациентричный» характер. Но взгляд на политическую систему, «вертикаль власти» из провинции имеет свою специфику. Исследования, проводимые в регионах, свидетельствуют о существовании «разных России». Происходящее на уровне федеральной власти необходимо сопоставлять с тем, что происходит в российских регионах, т.е. учитывать региональное многообразие.

*Четвертое.* Российский политический режим становится более понятным в контексте международных сравнений. Интересные результаты могут быть получены при анализе политических изменений, происходящих в странах, имеющих разную политическую традицию. Здесь важно сконцентрироваться на следующих процессах: расширении полномочий исполнительной власти в ущерб власти представительной<sup>3</sup>, возрастающем персонализме власти, порождающем «интоксикацию властью»<sup>4</sup>, приходе к власти в разных странах мира нового поколения агрессивной элиты<sup>5</sup>. При этом необходимо понимать различия: в странах развитой демократии указанные процессы – это реакция на новые вызовы, связанные с глобализацией и появлением новых рисков, тогда как в России – результат несложившейся демократии. В случае России и Франции полезно сосредоточиться на особенностях президентского режима. Представляет интерес сравнительный анализ социальных

<sup>3</sup> Rousselet K. Les grandes transformations de la société russe // Pouvoirs. – P., 2005. – N 112. – P. 23–33; Favarel-Garrigues G., Rousselet K. La société russe en quête d'ordre: Avec Vladimir Poutine? – P., 2004.

<sup>1</sup> Radvanyi J. La nouvelle Russie. – P., 2007.

<sup>2</sup> Desert M. Les nouveaux Russes // Questions internationales. – P., 2007. – N 27.

<sup>3</sup> Bourmaud D. La Constitution de 1958 et les partis politiques: Le gage de fer du présidentialisme // 1958–2008, Cinquantième anniversaire de la Constitution française / Sous la dir. de Mathieu B. – P.: Dalloz, 2008. – P. 591–597.

<sup>4</sup> Owen D. The Hubris Syndrome: Bush, Blair and the intoxication of power. – L.: Polico's publ., 2007.

<sup>5</sup> Higley J. The Bush elite: Aberration or harbinger? // The rise of anti-americanism / O'Connor B., Griffiths M. (eds). – L.: Routledge, 2006. – P. 155–168.

процессов, которые не укладываются в парадигму исторического отставания (например, феминизации политической элиты России и Франции).



**В.Г. Ледяев**, Государственный университет–Высшая школа экономики: Не думаю, что для французских исследователей очень актуальна тема изучения режима во Франции. Они давно с этим разобрались, и там, в общем-то, единства больше. Для нас же это чрезвычайно важно: мы должны знать, где находимся. Тема доклада представляется мне интересной именно с этой точки зрения. Кроме того, французские авторы меньше представлены в нашем академическом пространстве, чем англоязычные. Мне было интересно, насколько схожи или различаются их позиции.

Доклад показал, что имеется, с одной стороны, единство (т.е. нет большой разницы между нами и не нами), а с другой – внутри каждого исследовательского сообщества существует довольно большой разброс. Напомню фразу Натальи Юрьевны: «Взгляды российских и западных аналитиков на современный режим в России несколько поляризованы». Тут мне хотелось бы кое-что прокомментировать. Представьте себе, что мы всем зададим вопрос: есть ли в России правовое государство, нормальная партийная система, конкурирующие институты, которые эффективно представляют различные социальные группы? Не сомневаюсь, что все скажут: «Нет». Вполне понятное исключение составят только политизированные аналитики. На уровне констатаций, эмпирическом, будет довольно сильное единство; причем среди тех, кто оценивает нынешнюю ситуацию как позитивно, по сравнению с коммунизмом, так и не очень.

Какие-то различия появятся, скорее, в интерпретации источников, в том, какие модели, термины, концепты используются для анализа режима. Очень типичное объяснение дает культурологический подход. Транзитология трактует иначе – виноваты акторы: все зависит не только от каких-то вековых традиций, но и от того, что делают конкретные люди. Здесь различия имеются и среди французских, и среди российских авторов. Разные оценки даются состоянию режима. Очень удачна метафора оптимиста-пессимиста – как в известном анекдоте: полстакана водки для оптимиста – это ужé полстакана водки, а для pessimиста – всего полстакана. Мы pessimисты: нам хочется полноты. Но главное, все видят, что в стакане-то – только половина. Для некоторых это состояние нормально: иначе мы никогда и не жили и, в общем, рассчитывать было не на что. Для других это некая полукатастрофа, крах надежд.

Второй момент, на который мне бы хотелось обратить внимание. В принципе, доклад Натальи Юрьевны несколько вышел за заявленные рамки. И я, в общем, понимаю, почему. На самом деле она рассказывала не только о режиме, но и о том, что можно назвать властью (или структурой власти, или конфигурацией властных акторов, или элитным состоянием, или как-то еще). Все это действительно связано, особенно у нас. Совокупность акторов определяет режим. Поэтому многие либерально настроенные авторы, не очень этот режим любящие, считают, что его можно убрать, лишь исключив этих акторов. Тогда получается, что при сохранении нынешней конфигурации режим будет стабилен.

Для меня же понятно, что сила доминирующих сегодня акторов заключается как раз в самом режиме – в специфике той среды, в которой они обитают: именно она их поддерживает и им благоволит, давая структурные преимущества. Строго говоря, *режим – это не акторы, а некое пространство, климат*. Или это возможности: человека не убьют или убьют, посадят или нет, если он пойдет на демонстрацию, сможет или не сможет он услышать иное мнение и т.п. Это первоочередные вещи для характеристики режима. В этом смысле показательны описания американской власти. Там не все благополучно с точки зрения демократической теории: правят господствующий класс и корпорации, существуют всевозможные ограничения демократии. Но там другой климат, заставляющий властвовать определенным – иным, чем у нас, – способом.


Еще один аспект, который мне хотелось бы затронуть, хотя в докладе это активно и не прозвучало: сопоставление нынешнего режима с советским. С резюме Натальи Юрьевны я абсолютно согласен: тезис о реставрации советской системы сомнителен. Но мне интересно другое: почему этот тезис тем не менее возникает. На мой взгляд, дело не только в том, что возвращается символика, а съезды нынешней партии чем-то похожи на съезды КПСС. Кроме внешней, визуальной схожести есть элементы сходства по существу. И здесь я вспоминаю труды советологов, которые когда-то читал в ИНИОН (правда, не по-французски, а по-английски). Как мне кажется, там есть очень много интересных сюжетов, которые можно связать с современным режимом.

Вспомните: тоталитарную концепцию, не очень долго доминировавшую, в 1960-е годы сменила так называемая бюрократическая модель. Суть ее примерно следующая: не тотальный контроль из «центра», а создание конструкции, напоминающей, скорее, корпоративную структуру. То есть появление некоего механизма вместо организма: специфика режима объяснялась бюрократическими связями, которые пронизывали общество и, естественно, преобладали в политике. Мне кажется, это характерно и для нынешнего режима. Далее. Сегодня действительно усилилась бюрократия. Вполне возможны параллели с послесталинским периодом, когда она тоже была очень сильной. Конечно, это не полные аналогии, потому что сегодня бюрократия все-таки другая, но параллели...

Еще один интересный вопрос, который не так ярко прозвучал, – об уникальности и универсализме. Его толкование в рамках транзитологической парадигмы неизбежно ведет к тезису об отставании России. Это непосредственно связано с тем, чем я сейчас занимаюсь: анализ теорий, которые касаются не режимов вообще, а региональных властных практик. Мне интересно, насколько это применимо к нам. Так вот, вставая на позицию уникальности, мы очень сильно себя ограничиваем. Ведь уникальность – свойство любой страны; я не уверен, что мы более уникальны, чем Япония или Китай и т.д. В этом смысле сравнительный метод действительно полезен. Поэтому нам нужны классификации, хотя они несколько и оглуляют.

В то же время необходимо учитывать: создавая классификацию, мы неизбежно вносим в нее какие-то ценностные смыслы. Скажем, А. Линц, придумывая свою классификацию режимов – тоталитарный, авторитарный, демократический, – подразумевал, что демократия лучше, чем не-демократия. И мы не можем от этого отказаться. Если принять эту естественную, на мой взгляд, позицию, то мы совершенно точно отстаем: эмпирически действительно находимся ближе к тому участку спектра, который является недемократическим. В этом смысле я, например, не склонен обвинять тех, кто скажет, что Россия отстает. Но при этом мы открыто заявляем, что демократия – наш идеал. Очень важно, что это зафиксировано в Конституции. Однако я думаю, что в своей критике компаративистам и транзитологам, слишком уж настаивающим на универсальности, следует держаться более умеренного тона. Поэтому акцент французских авторов на специфике мне весьма симпатичен.

И наконец, собственно о режимах. Я думаю, их следует рассматривать как разные стороны континуума: скажем, авторитарный режим и демократия – это полярные точки, между которыми располагается некое пространство. Поэтому мне понятно, когда говорят о демократиях с приставками. Наша ситуация очень противоречива: нельзя с уверенностью сказать: демократия у нас или мы – в авторитарном режиме. Конечно, мне понятны аргументы авторов, которые все-таки пишут про авторитаризм в России. Когда мы выходим за пределы внешних институтов, набор авторитарных характеристик режима начинает превалировать над демократическими. В качестве варианта мне кажется полезной идея дефектной демократии – она указывает на самые важные дефекты. Так, наша демократия не вполне либеральна, слабы институты и т.д. В остальных же аспектах она в общем-то похожа на другие. Преимущество иных вариантов объяснения – различных гибридов, управляемого плюрализма – в том, что они четко показывают: мы – не в демократии.

 **С.П. Перегудов**, ИМЭМО РАН: Наталья Юрьевна представила достаточно широкий спектр подходов к проблеме режимов. При этом подчеркнула, что выбор их индивидуален. Я бы добавил: индивидуален – с учетом ситуации.

Скажем, я в последние три года занимался российской политической системой в основном в том ключе, который докладчик определил как институциональный, а я бы назвал системным. В настоящее же время больше востребован подход, который Наталья Юрьевна характеризовала как историко-трансформационный. Я бы даже сказал, что сейчас он доминирует. Причина ясна. В докладе поставлен главный вопрос: почему режим Путина не привел к тем результатам, которых от него ожидали? И для ответа на этот вопрос, мне кажется, лучше всего использовать историко-трансформационный подход.

У меня несколько иной угол зрения. В последнее время я занимался темой, очень созвучной той, о которой (среди прочего) говорил Валерий Георгиевич <Ледяев>: сопоставление советских и российских реалий. Я поставил ее в определенный контекст: плюрализм и корпоративизм в СССР и России (общее и особенное). Почему так? Потому что плюрализм и корпоративизм – два параметра,

которые, с моей точки зрения, определяют сущность системы, режима. Причем работают они вместе. И сегодня я решил очень кратко сказать о плюрализме советском и российском, современном.

Сначала о советском плюрализме. Я считаю, что советский режим при Брежневе следует считать позднетоталитарным (так я писал еще в 1994 г. – так считаю и сейчас). Он очень серьезно отличается от классического тоталитаризма – ведь тоталитаризм (а я не согласен, что эта концепция ушла в прошлое) эволюционировал и изучать его нужно в контексте этой эволюции. Наиболее интересная характеристика позднего (брежневского) тоталитаризма – наличие в нем целого ряда плюралистических взаимодействий.

Это плюрализм в области культуры, в сфере экономики (его я определил как бюрократически-корпоративный), плюрализм научный (особенно в общественных науках, как ни странно это может звучать). Научный и культурный плюрализм, их взаимодействие с «привластными» людьми очень интересно показаны в дневниках Анатолия Сергеевича Черняева, который курировал в ЦК науку, и в частности общественные науки. (Я, кстати, написал довольно пространственный обзор этих дневников для журнала «Полис».) Следует сказать еще о ведомственном плюрализме и т.д. Все эти «плюрализмы» сформировались на выходе из того тоталитарного монолита, который сложился при Сталине. Но вот чего там явно не было, так это политического плюрализма. Отсутствовала публичная политика; вообще, политика как таковая была изгнана из общественной жизни. Общество было деполитизировано. Поэтому я и считаю тот режим тоталитарным – это его главный признак.

Теперь о российском плюрализме. Он отличается от советского прежде всего своим политическим характером. У нас есть политический плюрализм: партии, парламентские фракции, различные организации гражданского общества и т.д., и т.п. Весь вопрос в том, какой это плюрализм. На мой взгляд, он «усеченный»: находится под властью, в рамках – в основном – властной вертикали. И это его в какой-то мере роднит с советским плюрализмом и с советской системой.

Причем, в центре этого плюрализма, я считаю, находится партийная система. Часто пишут, что наша партийная система – это какая-то имитация, декорация. Я с этим абсолютно не согласен. Партийная система играет значительную роль в нашем режиме, занимает в нем если не центральное, то очень важное место. Да, в центре партийной системы находится одна партия – «Единая Россия», «партия власти». Многие уже называют ее – и даже без кавычек – правящей партией. Я считаю, что, конечно, это не правящая партия и не партия власти, потому что она не формирует правительство, как в Европе, не имеет ведущей фракции в парламенте, как в Конгрессе США сейчас демократическая партия, не стоит над властью, как в Советском Союзе (там партийный аппарат, Политбюро и т.д. были вершиной власти).

Да, ЕР – при власти, но при этом она играет огромную роль в стабилизации этой власти. Вторую ее функцию я называю «нишеванием оппозиции»: оппозиция загоняется в ниши, где не может играть реальной роли. «Единая Россия», будучи под властью, обеспечивает политическую монополию. Третья функция – это функция общественной организации. Некоторые считают, что ЕР – бюрократическая партия. Ничего подобного. В своей статье в «Полисе» «Политическая система России после выборов 2007–2008 гг.» (2009, № 2) я пытался показать, как активно ЕР реализует общественную функцию. И наконец, следует выделить функцию легитимизации режима. Вроде бы у нас все – партии, парламент, выборы, – как у людей. И демократия, хотя и немножко, другая. В результате и режим легитимизируется. Конечно, не на сто процентов, но достаточно, чтобы его рассматривали как нормальный (или почти нормальный), современный – и в России, и на Западе.

Итак, «Единая Россия», выполняя все эти функции, обеспечивает единство, стабильность и в конечном счете – функционирование системы. В то же время я считаю, что такой способ организации и работы партсистемы заводит общество в тупик, блокируя возможности развития. Того развития, в котором действительно нуждается Россия. Сейчас многие аналитики отдают себе отчет в том, что система (и роль ЕР в ней) должна меняться. В этом смысле симптоматично появление доклада (Ежегодный доклад ИнОП «Оценка состояния и перспектив политической системы России», 2009), о котором так много говорят и который я считаю не очень сильным, а где-то и очень слабым. Изменения напрашиваются: весь вопрос в том, какими они будут.



**В.П. Булдаков**, ИРИ РАН: Доклад произвел на меня довольно грустное впечатление. Это связано вовсе не с его качеством (и еще менее с личностью докладчика), а с некоторыми сделанными выводами.

Прозвучала ключевая, на мой взгляд, фраза: политологи занимаются конструированием умозрительностей. Для меня это не ново. Уже не раз приходилось писать, что все наше обществоведение превратилось в конкурс химер воображения. Доклад лишний раз подтвердил это. Спрашивается, почему это происходит?

Ответ содержится в словах Натальи Юрьевны <Лапиной> о том, что в среде политологов над ней иронизируют как над «Геродотом». Это надо понимать так: политологам история просто мешает, им не до нее, им хватает забот на своей собственной делянке. Позвольте спросить: а не потому ли в вопросах о современной власти им приходится заниматься настоящим гаданием на кофейной гуще?

Главная беда нашего обществоведения – незнание российской истории, точнее – непонимание ее весьма наглядных уроков. Причем это относится и к самим историкам, *работающим* в основном по сценариям, навязанным властью. Между тем очевидно, что осмысление любых российских политических режимов – как прошлых, так и современных – немыслимо вне культурно-исторической почвы, на которых они произрастают. По моему убеждению, *без понимания культурно-антропологической составляющей прошлого и современности рассуждать о «политических» режимах бессмысленно.*

Позволю себе проиллюстрировать это на конкретных примерах, соответственно политологическим подходам, выделенным докладчиком.

Очевидно, что наша «политика» традиционно-архаична. Власть моносубъектна, в основе экономики лежит идея «государства-склада». Но что ее определяет? На мой взгляд, *неспособность населения самостоятельно распорядиться наличными ресурсами* (прежде всего, природными), породившая «*религиозное*» отношение к власти – *большому Хозяину*. Без преодоления этой исторической генетики всякие транзитологические вождения бессмысленны. И не стоит тешить себя компаративистскими иллюзиями – у нас все упирается в нежелание власти заняться самоусекновением и неспособность общественности заставить верхи (для их же блага, не говоря уже о прогрессе демократии) потесниться в сфере принятия решений.

*Наши институты* (как «политические», так и «общественные») – *всего лишь декорации*. Мы, однако, не умеем обходиться без этого суррогата государственности. Поясню это на конкретном примере, относящемся к XVII в. Спрашивается, что уцелело в Смуте, когда, казалось, превратилось в историческую пыль все (кроме полуобезумевших людей)? Оказывается, единственным уцелевшим институтом были приказы (см. блестящее новейшее исследование Д. Лисейцева) – ими успешно пользовались как всевозможные лжеправители, так и тушинское ворье. Другой пример. Всего через три года после «красной смуты» Сталин руками Молотова и Кагановича воссоздал институт диктаторского правления в лице номенклатуры, окончательно усовершенствовав его в 1925 г. Надо ли пояснять, почему в наше время мы как должное приняли идею восстановления «вертикали власти», не задумываясь, что гарантом демократии могла бы стать «горизонталь» общественной самодеятельности?

Сегодня, впрочем, было сказано и о субъектном подходе к оценке политического режима. Увы, он также дает весьма ограниченные возможности постижения природы существующей власти. Я только что закончил книгу, названную «Россия постреволюционная: Векторы психосоциальной динамики». Основной источник – «слезницы» простых людей, ложившиеся на стол Сталину. Послания с просьбой восстановить в партии (их большинство) я отбрасывал. То, что осталось, – сгусток эмоций. С одной стороны, налицо деструкция личности революционера, с другой – страхи перед всевозможными «врагами». В иерархии последних главное место занимали не прежние «буржуазия и помещики», не нэпманы и даже не кулаки, а коммунисты, комсомольцы, бюрократы, затем оппозиционеры, троцкисты, евреи, наконец, «империалисты». Необыкновенно высок накал ненависти к ближнему. Налицо совершенно неадекватная реакция на происходящее. В пору ставить вопрос о «психосоматической» природе российской «политики».

*При анализе властных практик* – их успехов и сбоев – *важнее всего выявить источник, их порождающий. В патерналистских структурах он лежит в неполитической сфере эмоций*, иной раз отчаянных. Что могло получиться, когда на общественную паранойю наложилась управленческая неподготовленность власти или, хуже того, паранойя моносубъекта власти, призванного принимать



«судьбоносные» решения? Для меня вопрос ясен: движение к коллективизации и прочим репрессивным действиям 1930-х годов началось именно тогда.

Сегодня говорилось об особенностях нашей политологии. Мне кажется, главного сказано не было: она ослеплена «тоталитаристскими» возможностями власти (которых в действительности не существует), потому ходит по кругу, как известная лошадь в подземелье.

*Чем в принципе поглощена наша власть? Самосохранением, самообеспечением, самообслуживанием, самовоспроизводством, самонасыщением... – всем тем, чем займется обычный, в меру безответственный человек. На это возразят: российская система является патерналистской. Совершенно верно: власть действительно вполне искренне заботится о людях, точнее, своих подданных. Правда, ровно в той степени, в какой это отвечает ее интересам, в той мере, в какой она зависит от них.*

Эта власть способна принимать разумные и оперативные решения (в случае очевидной угрозы ее существованию), но она же обнаруживает редкостную ограниченность, когда речь заходит о проблемах, выходящих за пределы ее ближайших интересов. А в общем претензий к ней не больше, чем к обычному человеку, в меру подверженному обычным порокам, ибо как и всякий человек, она способна не только «стареть», но и «болеть» под влиянием неблагоприятных обстоятельств. В обычных условиях она тихо, как обычный «живой» организм, саморазрушается, в экстраординарных обстоятельствах может впасть в ступор. Разумеется, очень многое зависит от фигуры, ее персонифицирующей, точнее, от ее достоинств и недостатков.

Политика нашей власти циклична именно в силу фетишизации человека, принимающего «окончательные решения». Мы (обществоведы) их не критикуем – мы их «исследуем». А надо бы просто понимать.

Конечно, меняемся мы, меняются «наши» правители. Но все мы действуем в меру своего исторического недомыслия, важнейшее место в котором занимают этакостские благоглупости. Разумеется, ни мы, ни власть не безнадежны. Но нас слишком легко купить, а власть слишком щедра на обещания. В общем, *в нашем сегодняшнем виде мы малоперспективны – не для демократии, для самих себя.* Думаю, доказывать это в данной аудитории не приходится.

История выступает в нескольких, я бы сказал, многих ипостасях: как традиция, обычай, память, идеология, политический пиар, даже как утопия. История, как наука, в этом ряду занимает относительно скромное место. И виновата не только она, с безусловным несовершенством методологий и технологий познания прошлого. «Виновата», если угодно, сама человеческая природа, точнее, ее склонность к самообману.

В докладе было также отмечено, что французская социология власти отмечается ценностным (этическим) и даже, как я не раз замечал, романтическим подходом. Все просто: она ведет свою родословную от Великой французской революции. Их (точнее было бы сказать *общеευропейская*) *революция создала нацию, общество, личность – это предмет гордости. Французы ощутили свою способность действовать независимо не только от власти, но и от церкви. Естественно, что созданные революцией ценности свободы, равенства и братства выступают главным критерием оценки современной политики.* И это более чем оправдано – человек может рассуждать о том или ином политическом режиме, если власть перестала быть для него сакральной величиной. В России это никогда не удавалось – не удастся до сих пор. Российские обществоведы рассуждают о власти, глядя на нее снизу вверх, ощущая себя ее заложниками.

Разумеется, элементы сакрализации, мистификации, эстетизации власти встречаются до сих пор в самых раздемократичнейших обществах. Это неизбежно: человек – существо социально зависимое. Он только и делает, что ищет себе «диктатора». Строго говоря, основной вопрос социальной философии в свое время сформулировал М. Мамардашвили: «Какого диктатора я хочу?» Применительно к демократии это означает одно: человек *выбирает* себя диктатора, но лишь на время, до тех пор, пока он не «надоел». «Диктатор» превращается в своего рода общественно-вспомогательный механизм. Это тоже далеко не идеал, но бюрократическую машину, по крайней мере, можно совершенствовать.

Увы, мы от этого далеки. Власть сама навязывает нам диктаторов, приукрашивая этот процесс своего рода «демократической ротацией». Преимуществ в этом для нас не больше, чем в повороте барабана в направленном на нас заряженном револьвере. Впрочем, для современной ситуации это сравнение будет слишком сильным – власти достаточно просто периодически пощелкивать кнутом.



**И.И. Глебова**, ИНИОН РАН: Нам был обещан сегодня один доклад, а получили мы четыре – в качестве дискуссионта неожиданно выступил В.П. Булдаков. И очень точно указал на шаткость, зыбкость позиций политической науки при оценке российского политического режима. Это, конечно, не открытие, но требует реакции. Одна из причин неадекватности, как мне представляется, – в стремлении либо уйти от российской инаковости, преобразовав себя – на уровне текстов, высказываний, научной реальности – по известным и достойным лекалам, либо уйти от объяснений инаковости. Мы еще более последовательно, чем наши европейские коллеги, идем по пути «нормализации» своего настоящего – *вопреки* этому *настоящему*. Желание «нормализовать» реализуется в недоговоренностях, неопределенностях (гибриды, демократия с уточнениями, авторитаризм с оговорками), что малопродуктивно для научной работы.

В отношении политического режима, как мне кажется, самое главное сейчас – поиск слов, адекватных понятий. Потому что суть режима достаточно прозрачна и адекватно «считывается», что демонстрируют исследования последних лет. Система «схватывается» и выстраивается через язык, научные конструкции. Пока мы ее не назовем (не следуя за самоназваниями, но их учитывая), она будет сохранять свою неопределенность.

В то же время субъективное нежелание определяться подкрепляется и объективным качеством определяемого. А как, в самом деле, назвать нынешний наш политический режим? Изящный оборот, предложенный В.Г. Ледяевым, – «мы не в демократии» – кажется мне очень характерным. Ведь действительно – не в ней, но тогда в чем? Авторитаризм – точная, по существу, характеристика, но явно недостаточная: требует разъяснения специфики режима. Есть, конечно, более или менее релевантные определения: популистский вариант авторитарно-бюрократического режима, плебисцитарно-номенклатурный режим.

Мне представляется, что *главное качество современного порядка* – именно его *неопределенность*: не демократия, но и не авторитаризм; не политический плюрализм, но и не монополизм. Не определившись, можно быть, чем угодно, совмещать в себе разные «легенды», черты и практики: сегодня – один *mixt* (скажем, больше демократии, плюрализма и интернационализма «нового типа»), завтра, если ситуация изменится, – другой (подадим авторитаризма и «удавизма», будем «вставать с колен»). Режим пластичен, подвижен, конъюнктурен, беспринципен; его сила – в прагматической неопределенности (ни то, ни сё – ничто и все). Суть такого режима не выразишь в краткой формуле, для его характеристики требуется много слов, а за ними маячит опасность пустословия.

С точки зрения реальной политики очень важно, что режим внутренне отрицает всякие определенности – институциональные, правовые, морально-этические. Они существуют вне и помимо него, никак его не ограничивая. Порядок, абсолютизирующий неопределенность, «заземляется» и работает только на уровне субъектном: *не активизирует демократические институты и гражданские сети, а спрутизирует социальное пространство кланово-мафиозными отношениями*. Это и порождает ту атмосферу («климат»), в которой возможно все; единственным ограничителем деятельности «элит» являются сами «элиты». Происходит «натурализация» господства: действия «человека господствующего» определяются «голым» материализмом, жадной властью, стремлением быть «впереди планеты всей», инстинктом самосохранения. У него нет цивилизационных ограничений. И именно этот человек устанавливает рамки, пределы для всякого рода плюрализмов – так же, как в советские времена. Социальная активность едва ли не нулевая; роль общества, обладающего признаками субъектности, исполняют сращенные с властью, интегрированные в режим группы.

Видимо, только таким образом и мог реализовать свалившуюся на него свободу *послесоветский* (не русский и антисоветский, а именно *после-*) мир. Здесь *свобода* (скорее, даже «расконвоированность»/вольноеопределение) – не качество режима, конвертируемое в политический плюрализм и публичность, в демократию, а свойство социальной среды, ощущение, не поддающееся институционализации. Более того, это свойство вообще не имеет политического измерения: теперешняя наша свобода – явление частнобытовое (вольное – без госнадзора и санкций коллектива – самоопределение субъекта в частной, бытовой сфере), а также экономическое (свобода потреблять, некая «потребительская демократия»). Она связана не с осмысленным и ответственным обретением прав, а с инстинктивным отказом от обязанностей. Из анархического, антиправового индивидуализма

не рождаются институты, с помощью правовых механизмов трансформирующие свободу как ощущение в свободу как характеристику системы. Напротив, вольное, «дикое» («диким образом» – по типу привычного советского отдыха) самоопределение всех и каждого на общесоциальном уровне уравнивается организацией «самодержавного» типа.

В постсоветском порядке «негативная» свобода как принцип частно-индивидуального обустройства естественно сплетается с авторитарным принципом социальной организации. Получается «самодержавная демократия» или «народно-демократическое самодержавие». Соединение принципов свободы и несвободы дает в результате неправовой, недоговорный, не поддающийся институционализации порядок. Его определенность в конечном счете – в отрицании права (т.е. цивилизационных норм) как универсального регулятора социальных отношений, в подавлении – сверху и снизу – плюрализма и публичности как механизмов, мешающих реализации естественно-биологических потребностей, потребительских прихотей индивидов в рамках стихийно складывающейся социальной системы.

В конечном счете можно сказать, что наш режим не «прочитывается» через политические категории. Он – *неполитический* и в этом смысле несовременный. Как его можно мерить категориями современной западной науки – большой вопрос. Но их нечем заменить – разве только констатацией того, что они не способны выявить сущность называемых явлений. Скажем, *ЕР*, о которой сегодня говорилось, при соотнесении с классическими критериями партийности выглядит *чистым симулякром*. Однако, ограничившись такой констатацией, мы не выйдем из «зоны неопределенности».

Мне хотелось бы сказать несколько слов по этой теме, неожиданно сегодня возникшей. И, как мне кажется, очень характерной – и для режима, и для его интерпретации. В чем-то я буду отталкиваться от тезисов, сформулированных С.П. Перегудовым. Если упростить, схематизировать, то они выглядят так: партсистема – важный элемент режима, поэтому не может быть имитационна; ее анализ можно свести к *ЕР*, которая при этом – не правящая партия и не партия власти; *ЕР* выполняет значимые для режима функции – легитимации, стабилизации, обеспечения властной политической монополии; *ЕР* не является исключительно бюрократической партией, имеет потенциал общественной организации и все активнее его реализует.

При оценке *ЕР* сейчас мало кто ставит под сомнение партийность ее природы; споры ведутся о том, *какая* это *партия* (доминирующая, правящая, бюрократическая и т.п.). Мы, видимо, уже прошли стадию ее определения как прото-, еще не-партии и т.п. Зато указывают на растрату *ЕР* субъектности, т.е. на понижение в ней «градуса партийности» («уже не-партия?»). Но в общем преобладают определения, базирующиеся на самоинтерпретации *ЕР* и ее легитимизирующие. Оценки *ЕР* становятся проблемой идеологии (или политтехнологии).

Очевидно: *ЕР* ее создателями из администрации президента изначально отводилась инструментальная, технологическая роль – политический режим 2000-х не нуждался в партии как субъекте политики. Цель была как раз снизить риски конкурентности/публичности, сделать предельно (насколько это вообще возможно) управляемым и предсказуемым электоральный процесс. Путь – монополизация политического пространства с помощью *инструмента*, адекватного новым (и интернациональным) правилам игры. *Его* назвали *партией* и придали соответствующую форму. Очень логичный выбор: легче контролировать не людей (непартийных политиков) или мелкие мобильные образования, а суперструктуру, используя опыт советской «партийности» и постсоветского «корпоративизма».

Партия, как и многое в нашей истории, – эксплуатация «чужих» форм. Это естественный способ адаптации к современности, ориентиры которой задали не мы. Причем, способ самый простой, исторически не однажды опробованный и результативный – при нашей способности принимать любую форму (т.е. при анархической бесформенности массовой культуры: неструктурированности, отрицании формально-процессуальной стороны жизни). Облачением в новую форму если и стремились исправить «туземное» содержание, то только поначалу. Скорее, действовала всепобеждающая логика выживания/мимикрии социального естества. Конечно, форма – не пустая формальность; она требует содержательного соответствия. И в *ЕР* (как и в других элементах *властной партсистемы*) присутствует партийное начало, так или иначе получающее выражение. В этом (и только в этом) смысле тезис об имитационности *ЕР* и партсистемы не точен.

Но форма – не догма (наши партии и демонстрируют), насколько она подчинена содержанию. Постсоветская партсистема не нацелена на представительство широких гражданских интересов, а

замкнута на узких, «элитарных». Она – в основном и по преимуществу – обслуживает (легитимирует, стабилизирует) монопольное господство утвердившихся у власти и получивших собственность групп. *ЕР и другие – партии в том смысле, что артикулируют и агрегируют интересы одного социального слоя, который ощущает и продвигает себя как «элита».*

Для защиты режима бесконтрольного, безальтернативного и стабильного господства «элит» их партии *имитируют представительство широчайших социальных интересов* (все метят не просто в массовые, но в общенародные, кроме «Правого дела» – партии для социально «чужих», т.е. интеллигенции). В этом смысле они имитационны. Хотя для придания «легенде партии» реалистичности наши партобразователи вынуждены выполнять и «функции общественной организации». То есть реагировать на социальные запросы, обслуживать социальные нужды. Но людям *партии власти/элит* служат в последнюю очередь, по «остаточному» принципу, когда уже нет другого выхода. Их партийность не только управляема, но и «остаточна», вынуждена (вымучена), краткосрочна (предвыборна). В остальном они служат тому «классу», к которому принадлежат, т.е. себе.

Поэтому *партсистема по сути своей непублична* – и в этом соответствует закрытому характеру режима. Там, где начинается партийность, реальная партийная жизнь, партия погружается в тайну, уходит в «тень». *В зоне публичности наши партии в основном имитационны; их партийная природа реализуется в «теневой» сфере (в «подполье»).* Там партии являются крупнейшими бизнес-предприятиями. Там, где вершится реальная политика, они выступают инструментом внутриэлитной борьбы – за ресурсы, влияние, власть, за право продвигать в зону публичности точки зрения, политические линии, интерпретации прошлого, прогнозы на будущее и т.д. Партии участвуют в конкуренции первых лиц («соправителей» В.В. и Д.А.) и их окружений, учреждений, кланов, идеологий, атеистов с православными и т.п. Партии (в первую очередь ЕР) – место действия «элитарного» плюрализма. Причем, не единственное. А также легитимный механизм встраивания страны в интернациональные управленческие структуры. И тоже не единственный. Это образ жизни господствующих групп. И желанный ориентир (один из) для тех, кто мечтает ими стать.

Показательно, что *выборы* в основном перестали быть публичной конкуренцией, превратившись в «площадку» *неформально-теневых сделок «элитных» групп.* Вообще, наш политический режим, постоянно пеняющий на «мировое закулисье», базируется на неформальных, «теневых» механизмах взаимодействия. Он «закулисное» любого «закулисья». Назначение партий в электоральном процессе – то же, что у администрации президента в отношении партий: не допустить самостоятельности. На выборах партиями решается сложная двусоставная задача: продвижение частных и групповых («элитарных») интересов и подтверждение лояльности населения режиму через плебисцитарный механизм. В рамках первой части задачи ЕР и др. имеют значение партий, играют свойственную партиям роль. Особенно отчетливо это проявляется на региональных и местных выборах, на которых случается межпартийная и даже внутри(ЕР)партийная борьба.

Конечно, С.П. Перегудов не случайно заговорил сегодня о ЕР. Через партию (а теперь уже партсистему) власти отчетливо прочитывается режим. Логика прочтения такова: *каков режим – такова и партия как его элемент.* В последнее время обозначилась тенденция *переворачивания* этой логики: «выводить» режим из партии. Напомню две такие интерпретации, как мне кажется, взаимосвязанные.

В докладе, о котором вспомнил Сергей Петрович <Перегудов>, конструкция «верховой власти» обозначается как «Три П» – президент, премьер и партия. Так М.В. Ильин с соавторами указал на монопольное положение ЕР в партийной системе и ее особую роль в российской политике. В.Я. Гельман и другие квалифицируют современный режим как авторитарный партийный (партии стали основным инструментом правящей группы, сложился авторитаризм на основе доминирующей партии), в отличие от персоналистского авторитарного режима 1990-х. Эта (и подобные им) схемы, в общем, даже увлекательны как своего рода интеллектуальная игра, но вовлекают в какую-то абсурдистскую реальность, где роль исследователя абсурдна вдвойне: дать научную «легенду» (приемлемую классификацию – например, ярлык «мягкий авторитаризм») построенной помимо него конструкции и тем самым ее нормализовать. Ведь авторитарный в сочетании с «мягким» и «партийным» выглядит гораздо более цивилизованно, чем авторитарный как административно-полицейский, репрессивный. А «Три П» – это уже как бы и не «тандемократия», но нечто большее, ориентированное на современно-партийное. Да и характеристика

«недемократический» либо прямо высказывается, либо держится в уме. То есть, квалифицируя абсурд через научные категории, мы его не декорируем, а как бы возвращаем в реальность.

Но все равно эффективно «клишировать», вгоняя наши конструкции в современность, не получается. Наш режим сложно нормализовать на партийных путях – противоречит не только режимной действительности, но и обычной логике. Почему верховная власть представлена «Тремя П»? Чтобы добрать до цифры, символизирующей единство и согласие («соборность») по-русски? Тогда логичнее было бы присовокупить к «соправителям» патриарха, по независимости и социальному влиянию явно превосходящего партию. Он хотя бы тоже правит. Ввести его в этот ряд – значит подчеркивать неформализованность, персонифицированность нашей власти. Или авторы «Трех П» видят ее по-другому – в формально-институциональном ключе? Возможно, партия берется как пристяжная власти – то президента, то премьера. В чем тогда ее особая (самостоятельная, независимая от первых «Двух П») роль? Таких властных инструментов, «опосредованных властей» у «П<sup>2</sup>» много. А что будет, когда премьер станет президентом и не «назначит» президента премьером? Партия останется? И кто будет третьим?

Еще более зыбкая, уязвимая модель (не формула, гипотеза, а готовая, концептуально выверенная, стройная модель) «авторитарного партийного режима». К ней возникают, как минимум, два вопроса. Первый и главный: режим 2000-х, став партийным, перестал быть персоналистским? Он, в отличие от ельцинского, прочитывается не через Путина, а через партию? Зачем же тогда ЕР называет себя «партией Путина»? От скромности? И почему 90-е объявлены сейчас «персоналистскими непартийными»? Потому что не все партии создавались Кремлем? И второе: электорального и парламентского доминирования ЕР добилась сама? А в Государственной думе она проводит самостоятельную политическую линию, независимую от «П» или «П<sup>2</sup>»? Если нет (а отрицание законодательной самостоятельности ЕР – одно из оснований модели), то почему в качестве определяющей характеристики режима называется «партийное доминирование»? Модель «партийного режима» рассыпается при наложении на реальность. Хотя, может быть, и не надо накладывать, – модель строится независимо от реальности, имея целью ее перестроить? Возможно, социальная задача постсоветского обществоведения, наследственно-преемственная с советской общественной наукой, – дать (кому? людям? а зачем? себе?) другую реальность?

Повторю, мне представляется, что не режим «выходит» из партии, а она опосредована им, сконструирована под него. ЕР – это *режимная партия*, основание режимной партсистемы. Основная же характеристика режима 2000-х – не демократия или авторитаризм. Его смысл – *безопасность*. Все остальное – вторично, побочно, факультативно. Не случайно главные режимные люди – из безопасности. Только теперь они защищают общественную, а личную, групповую, «корпоративную». *Это охранительный режим, режим безопасности и властно-элитарного благополучия*. Поэтому он не имеет отчетливых идеалов, не базируется на позитивной системе ценностей. Все это режиму не нужно, для него избыточно. Но он все это имитирует – опять же из соображений безопасности.

Что же касается классических определений, то для охранительного режима вообще более естественны авторитарные, а не демократические практики. Режим же, выросший из советского (являющийся результатом его разложения), более, чем какие-то другие, склонен к подавлению последних. Он в принципе исключает для себя демократию. Хотя может использовать обнаруженные «в демократии» технологии. Существенно, что режим 2000-х не выдерживает нагрузки конкуренцией, оппозицией, критикой и по-настоящему не способен к самокритике. Это говорит о его неэффективности, непрофессионализме, общей слабости. Такие режимы возникают только в слабой или неэффективной, инертной, «убитой» социальной среде.

*Партия является одной из охранительных технологий*. Причем, очень важной. Режим нацелен на ужатие важных социальных процессов до узкого («элитарного») пространства. С помощью партий основная масса населения исключается режимом из системы представления и согласования интересов, разрешения противоречий и конфликтов, процесса принятия социально значимых решений. А потому российская партсистема современна лишь по видимости; режимная логика ведет ее в направлении, противоположном основным тенденциям современности. В случае с партиями мы получили возможность наблюдать, как сложнейшая управленческая технология, нацеленная на разрешение конфликтов и согласование социальных интересов, превращается в примитивную

технику обеспечения господства. То есть утрачивает первоначальное значение, исконный смысл, становится партией лишь по названию.

*Материалы семинара подготовлены к публикации  
И.И. Глебовой и М.А. Арманд*